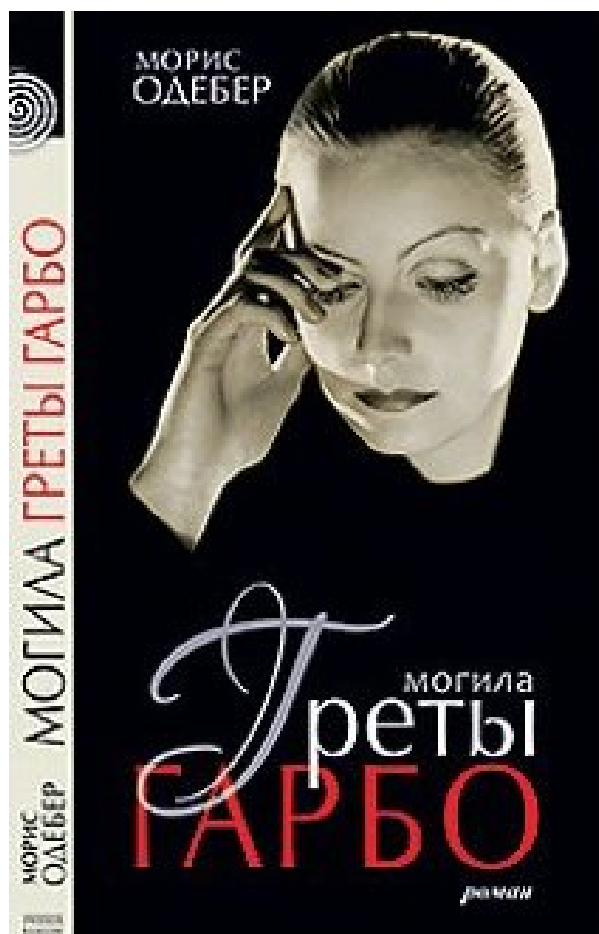


## Морис Одебер Могила Греты Гарбо



, ReadCheck - monochka; OCR, conv. - Roxana  
«Могила Греты Гарбо»: РИПОЛ классик; Москва; 2010  
ISBN 978-5-386-01823-8

### Аннотация

*Этот роман удивительно похож на японскую акварель или на старое, чуть пожелтевшее от времени фото, на котором сквозь паутину времени проступает лицо неземной красавицы. На его страницах оживает тайный мир звезды мирового экрана — великой и божественной Греты Гарбо.*

*Автор романа Морис Одебер не ставит своей задачей рассказать нам всю правду об актрисе. Для него она навсегда остается недосыгаемой, а ее тайны — непознанными. Поэтому Одебер только очень деликатно прикасается к эпохе Греты Гарбо, словно к тонкому лучу, вобравшему в себя свет ушедшей звезды.*

*Морис Одебер — преподаватель философии, актер, режиссер, автор более пятидесяти пьес и двух романов.*

## Морис Одебер Могила Греты Гарбо

*Входит графиня Дона, останавливается, задумывается.*

**Графиня.** Не могу в это поверить! (Делает несколько неуверенных шагов, рассеянно срывает цветок, подносит его к носу и отбрасывает. Задумчиво садится на скамью.) Он должен был сказать мне!

(Появляется Йеста Берлинг. Он чем-то встревожен.)

**Йеста.** Для нее я теперь ничто.

(Делает несколько шагов в сторону графини. Она холодно смотрит на него. Он смущен, отворачивается.)

**Графиня.** Должна ли я поверить, Йеста, тому, что сейчас узнала?

**Йеста.** Не судите строго, графиня. Я хотел во всем вам признаться, но не осмелился. (Она грустно смотрит на него, встает и выходит. Обессиленный, Йеста падает на колени.) Мне ее не вернуть!

(Берлинг сидит на земле, обхватив голову руками. Графиня возвращается, но он не замечает этого.)

**Графиня.** Я верю вам. Но не лгите мне больше, расскажите все.

(Лицо Йесты освещается радостью. Он поднимается, с опущенной головой взволнованно прохаживается туда и обратно, сжимая руки. Останавливается, делает над собой усилие и смотрит графине в лицо.)

**Йеста.** Я ничтожество... Я хотел забыться в вине... Меня преследовали как негодного священника...

(Графиня грустно качает головой. С жалостью смотрит на него.)

**Графиня.** Значит, это правда!

(Он пристыженно опускает голову.)

**Йеста.** Увы!

(Графиня смотрит на него долгим взглядом. Она разрывается между суровым осуждением и состраданием. Наконец она говорит.)

**Графиня.** Бедный Йеста!

(Йеста не верит своим ушам. Он весь сияет от счастья. Приближается к графине, берет ее за руки.)

**Йеста.** Вы сказали: «Бедный Йеста»... Я могу рассчитывать?.. (Она опускает глаза, но не убирает руки. Он нежно смотрит на нее.)

Графиня!

(Она поднимает глаза и встречается с ним взглядом.)

## Увертюра

Я говорю:

— Ты совершаешь ошибку!

Она отвечает:

— Захочу и буду смеяться!

— Повторяю, если бы я был на твоём месте...

— Какое самомнение! Да кто ты такой, чтобы указывать мне, как поступить?

Она прекрасно знала, что я никогда не «указываю», однако намного легче притворяться, чем говорить искренне.

Чуть погода хлопнула входная дверь.

Так она уходила от меня навсегда.

Еще через некоторое время я наблюдал, прижавшись щекой к пыльной и поблекшей бархатной занавеске, как она спускается по бульвару неловким мальчишеским шагом.

На виллу она больше не вернулась. Я не искал с ней встречи. Я сознательно избегал ее.

Некоторые ее преследовали, кому-то удавалось узнать ее в толпе и показать на нее пальцем. О ней еще долго говорили, ее часто вспоминали все, кому не лень.

Дети, а иногда и старики, пробуждают воду, бросив с моста камень, и от внезапного столкновения — которое обычно ускользает от взгляда всегда спешащего прохожего или, даже если он заметит его, тут же стирается из памяти, — водная поверхность наполняется круговой рябью, рождается еще один круг, за ним другой, немного подальше от первого, и следующий. Окружность с каждым разом становится шире, и вот уже о берег разбивается тихая волна; круг в круге, и вселенная безбрежной полнотой побеждает, наконец, крошечную бурю.

Так же уходит память, которая...

Но камень уже брошен.

## Вилла

### 1

Вилла, без сомнения, была проектом абсолютно безумного архитектора, сумевшего найти кого-то еще более сумасшедшего, чтобы воплотить задумку. По крайней мере, было ясно (во всяком случае, некоторым жителям города), что она не держится ни на чем, кроме фантазии.

История сохранила имя архитектора. Некий Уильям Сандерс выгравировал тонкими дрожащими буквами свою подпись на камне внизу стены, слева от громоздкой входной двери в викторианском стиле. Это все, что о нем известно, так как он исчез в тот же день, когда были переданы ключи — церемония, на которой он лично не присутствовал. Поддерживая непроверенные слухи, кто-то утверждает (и им нельзя отказать в логике), будто архитектор не любит выходить на люди, поэтому именно такое выдающееся здание подчеркивало его существование. Другие же заявляют (но, может, нам стоит уточнить, что довольно часто реальность искажается воображением и в нее переносятся стереотипные сюжеты из фильмов ужасов), будто он замуровал себя в одном из потайных уголков огромной постройки, возведя стены собственной могилы.

Однако, кем бы ни был этот архитектор (вероятно, призрак), его ярко характеризуют имена тех, кто стал его клиентами. Среди них называют многих из голливудских актеров, начиная от Теды Бара и заканчивая Рамоном Новарро, — счастливых, которые своим присутствием некоторое время освещали это вычурное строение. Но невозможно напасть на след первого владельца, того или той, кто имел дерзость (и огромное состояние) участвовать в медленном зарождении грандиозного монстра из шифера, черепицы и камня.

В одно и то же время вилла простирается, возвышается и изгибается — лишь противоречащими друг другу глаголами можно описать ее внешний вид, не поддающийся никакому сравнению и объединяющий в себе все стили. Необычными площадками и изломанными линиями она громоздится на самом вершине Беверли-Хиллз. Со стороны фасада вилла почти полностью скрыта от любопытных взоров высокой оградой и беспорядочно посаженными старыми деревьями. Как хрупкое напоминание о весенней поре, из сада круглый год доносится нежный аромат жимолости, а вытянувшиеся, распутившиеся и увядшие цветы достают до самых окон в мавританском стиле.

Именно отсюда, где так удобно устроилась четырехугольная зубчатая башня, — единственный элемент постройки, возвышающийся над верхушками деревьев, доступный взгляду извне и, без сомнения, несущий на себе очевидную смысловую нагрузку, — именно

с высоты этой башни Джон Бэрримор<sup>1</sup> решил однажды «помочиться на проклятый город». Точнее, как он объяснил позже, на студии Вальтера Врангера, которые Бэрримор разглядел довольно далеко внизу, в долине, однако у него ничего не получилось (во всяком случае, из того, что я слышал), кроме слабой тоненькой струйки, прошуршавшей в ночной тишине по черепичной крыше.

Что же касается стены, которая была не выше обыкновенного забора, пока мы не переехали, своей окончательной высоты она достигла в два приема. Первый сразу же оказался недостаточным, чтобы отгородить хозяйку от любопытных, восхищенных и недоброжелательных взоров. Она никогда не позволяла распахивать ставни на первом этаже, даже после того как дом был спрятан за высокой оградой, не считая густых деревьев (хотя зимой сквозь тонкие ветви и жухлую листву любопытным и правда открывался неплохой вид). Краска на ставнях стала шелушиться, деревянная основа потрескалась. Лишь иногда длинные, пустые и темные комнаты пересекал луч света. Хозяйка установила определенные часы для открытия ставней на этаже, и каждое окно ослепили тяжелые, собирающие пыль занавески; этот грустный запах пыльного бархата возвращается ко мне всякий раз, когда я вспоминаю те десять лет, что мы прожили на вилле, чувствую раздражение от трения моей щеки о ткань в тот последний день, когда я смотрел из окна, как она спускается по бульвару.

## 2

Ее часто обвиняли в скупости. Газеты писали, что в ее огромном доме большая часть комнат заброшена и, не считая помещения, занимаемого мною в башне, и комнат прислуги, она поселилась в двух обставленных по минимуму комнатах (если не сказать «захватила» их). Говорили, будто ее жилище лишено облика и характера.

Однако необходимо помнить: здесь и везде она была лишь проездом. В ее словах: «Я из ниоткуда», — отражалась та ее неустойчивость, которая с течением времени (испытывала она гнев, желание исчезнуть, завести случайную связь или бросить вызов миру) превратила неловкого подростка — которого я встретил в Упсале в 1919 году и с тех пор постоянно терял, искал и обретал, — в легенду, загадку, чей озарявший экраны образ приводил в восторг и гипнотизировал толпу. Даже Швеция, в которую она постоянно возвращалась в действительности и в беседах, к языку которой — своему родному языку — была так болезненно привязана, что всю жизнь говорила по-английски с акцентом, где она купила дом на берегу озера Силлен (дом ей пришлось перепродать после неудачной связи с Леопольдом Стоковским<sup>2</sup>, когда за блеском, пышной белоснежной гривой и неутомимым многословием «великого дирижера» оказался лишь жалкий петух, лишенный голоса и перьев; достаточно было присмотреться внимательнее, чтобы обнаружить подделку), так вот, даже Швеция оставила ее однажды, лишив корней и точки опоры, и превратилась в сохранившуюся с незапамятных времен бесплотную картинку.

## 3

Слуги, супруги Сигрид и Густав, жили на нижних этажах виллы и занимали длинную череду комнат, которую обставляли и украшали довольно причудливым образом. Часть собственного досуга Густав тратил на обследование складских помещений киностудий, откуда он выуживал пришедшие в негодность элементы декораций, чинил их и сооружал из

---

<sup>1</sup> Джон Бэрримор (1882–1942) — знаменитый американский актер немого и звукового кино, исполнитель шекспировских ролей в театре.

<sup>2</sup> Леопольд Стоковский (1882–1977) — британский и американский дирижер и органист польско-ирландского происхождения.

них нечто в своем духе — так в одной комнате кровать с балдахином времен Людовика XIII соседствовала с венской люстрой и венецианским комодом. Его коллекция постоянно обновлялась согласно новым находкам, и если бы мадам захотела, она могла бы устроиться в шикарных апартаментах, однако она никогда не высказывала подобных желаний. Мне же пришлось смириться с этим увлечением Густава, хотя я старался умерить его строгим требованием стилистического единства — условие, обычно важное в архитектуре. К тому же скромные размеры комнат в башне не позволяли расставить там большое количество предметов мебели или громоздкую мебель, так как это сильно затруднило бы передвижение. Таким образом, декораторской страсти Густав мог предаваться лишь в моей комнате, и мне случалось просыпаться в обстановке времен Людовика XIV, а ложиться спать при Генрихе II; ни библиотека, ни конечно же лаборатория, где я проявлял негативы, не могли послужить ему достойной площадкой для воплощения идей.

Сигрид почти никогда не было видно, эта величественная женщина в расцвете сорока лет дни напролет проводила на кухне, где ей нечего было варить или тушить, так как питались мы совсем просто, даже скудно (не по причине экономии, а из диетических соображений). На кухне она вела долгие беседы на ломаном английском с двумя попугайчиками, убежденная — и все мои попытки возразить и блеснуть лингвистическими познаниями, которые обычно производили впечатление, здесь потерпели полный крах, — что говорливые пернатые, привезенные из Швеции, не переносят, когда с ними общаются на родном языке (если можно так выразиться).

Густав, комплекцией похожий на свою жену, вел себя совершенно иначе: бегал туда и обратно с озабоченным видом, хотя работы у него практически не было: вилла была почти полностью заброшена, запрещалось подрезать деревья в парке, к тому же мы никого не принимали. Изредка мы отправлялись на какой-нибудь большой праздник из тех, которые так любили устраивать в других домах, на эти parties<sup>3</sup>, где на чужих лицах замечаешь ход времени, изношенность славы и морщины от разочарований (а иногда и от алкоголя, в котором утоплено отчаяние). И так, никаких визитов, ни дружеских, ни соседских, даже если они от чистого сердца. Парадную дверь наглухо закрыли, буйная растительность заполонила подъездную аллею, которую когда-то, судя по рассказам, украшали процессии из роскошных лимузинов; шумное семейство ласточек свило гнездо под крышей на крыльце, а ленивые ужи небрежно отпугивали ящериц на каждой из трех террас. «Как же это грустно! — печалился время от времени Густав. — Вдруг месье сможет переубедить хозяйку?»

Месье обещал, ради того чтобы его оставили в покое, но даже и не пытался ничего предпринять. Состояние виллы волновало меня еще меньше, чем ее. С Густавом я соглашался только по одной причине: я никогда не испытывал восторга перед тем, что принято называть природой (это слово обычно произносится с некоторым трепетом), и нет ничего тоскливее, с моей точки зрения, чем пшеничное поле.

Штернберг<sup>4</sup> часто повторял: «Бог — демонстратор теней, и если он творит тень от дерева, то это не больше чем тень от тени. Чтобы убедиться в бессодержательности существующего, достаточно внимательно рассмотреть полотно художника: каждая форма разрушается и оказывается пятном, которое сначала напоминало по виду лес или строение». Он добавлял: «Я тоже работаю с тенями. Но я в этом признаюсь, а не задираю нос, как он». Тогда я спрашивал: «Правда?» Его лицо сморщивалось, превращаясь в полусмешную-полутрагическую маску, и он снова и снова объяснял мне: «Мы сейчас одни, и ты прекрасно знаешь, что для того чтобы выжить в этом мире, нужно выражаться предельно ясно».

---

<sup>3</sup> Вечеринки (англ.).

<sup>4</sup> Джозеф фон Штернберг (1894–1969) — американский режиссер, продюсер, сценарист.

Он приходил, только зная, что ее нет дома, — когда она уезжала на съемки или куда-нибудь еще, повинувшись внезапной прихоти. Почему он избегал ее? Я так и не сумел понять, даже в пьяном бреде. Он давал ложные ответы и резко обрывал разговор, заявляя, что пришел не ради того, чтобы заниматься психологией или метафизикой, но с намерением освежить мозг и повеселить сердце, разглядывая мою коллекцию. После чего мы обычно спускались в библиотеку, и я развязывал для него папки.

4

Однажды вечером, после наступления сумерек, как раз когда ее не было дома, Джон Бэрримор позвонил в дверь. Не успел я задуматься о том, кто мог прийти в такой час, как Густав впустил его — или не сумел помешать войти (я в это время проявлял в лаборатории негативы, сделанные за последнюю неделю) — и поспешил сообщить мне, что пришел «некий господин», который «собирается помочиться».

В первое мгновение я решил, что во всем виноват сомнительный английский Густава, однако именно это и сказал на вид сумасбродный, по мнению Густава, господин и, очевидно, пьяный в стопку («в стельку», Густав!); все это («в чем вы сами сейчас убедитесь») я узнал, спускаясь в холл. И я действительно убедился: Джон Бэрримор собственной персоной сидел, развалившись в кресле у входа, высоко подняв голову и одну бровь — характерная черта, известная многим по его фильмам. Он встал мне навстречу в развязном приветствии, встряхнул воображаемой шевелюрой, а затем вновь рухнул, не удержавшись на ногах от сильной икоты.

Едва я произнес: «Месье...» — как он вновь вскочил, на этот раз более уверенно, и повелительно протянул руку в неопределенном направлении.

— Не составит ли для вас труда удалить прислугу, чтобы я мог беспрепятственно изложить причину столь позднего вторжения, в противном случае мне будет затруднительно раскрыть суть дела, так как это вопрос чести.

Я отпустил Густава, и Джон продолжил более громким голосом:

— Месье, вам известно, кто я такой, а я знаю, кто вы, и я хотел бы попросить вас не судить обо мне по жалкому паясничанию, которым я печально прославился на весь мир.

Я заверил Джона, что хоть и не считаю его роли в кино паясничанием (он поморщился и нетерпеливо отмахнулся в ответ), но бережно храню воспоминание о его нескольких блестящих театральных выступлениях.

— Театр! Ах, месье! Театр! — Его лицо окаменело, в то время как по телу пробежала какая-то медленная судорога, ладони, не спеша, как бы вслепую поднялись к самому лицу, на котором застыла блаженная улыбка. Он вновь уселся, бросив руки с притворной беспечностью, и уставился в пространство застывшим, бессмысленным взглядом; прошло несколько долгих секунд, прежде чем Джон спросил: — Не найдется ли у вас чего-нибудь тонизирующего, что могло бы поставить меня на ноги? — И добавил, когда я собрался налить ему бокал: — Могу ли я попросить бутылку целиком?

Он стал пить из горлышка, очень осторожно, даже изящно осушил бутылку и, когда наконец поднялся — хоть на щеках его синела многодневная щетина, костюм был пыльным и запачканным, спереди на пиджаке красовалось огромное пятно, а над ним с парадоксальной кокетливостью белел в верхнем кармашке чистенький платочек, на одной ноге была старая теннисная туфля, а на второй — носок, — так вот, когда он поднялся, то вновь обрел равновесие и непринужденность, и даже голос его теперь звучал глубоко и уверенно, несмотря на то что до этого он запинаясь на некоторых словах и путал слоги. Бэрримор склонился в церемонном поклоне.

— Позвольте поблагодарить вас, месье, за добрые слова. Я действительно был когда-то таким, как вы говорите. Возможно, это живет во мне и сейчас, но так глубоко... как воспоминание. Моя память — огромная библиотека, в которую я не осмеливаюсь

заглядывать, так как не уверен, умею ли я еще читать. Им нужен лишь мой профиль... В лицо великому Джону Бэрримору никто не смотрит, у него больше нет лица. Только профили, два сросшихся профиля, как у плоских жестяных петухов на верхушках колоколен в старой Европе. — Он пристально взглянул на меня, поднял бровь и звонко закукарекал, чем вызвал появление в дверях встревоженного Густава. — Я петух, — заголосил Бэрримор специально для новоприбывшего и устремился к нему, взмахивая руками. — Я единственный петух, уникальный! Я король петухов!

Густав сбежал. Джон вернулся ко мне.

— Паяц — вы же видите!.. Они используют мужчину или женщину — да не важно кого... Собаку, лошадь — для них все сгодится. И вот, что они из них делают... Я пришел, чтобы помочиться на них в знак осуждения. Если вы позволите... — Он повернулся ко мне спиной, твердым шагом направился к лестнице, поднял ногу над первой ступенькой и... словно внезапная нерешительность овладела им. Он стоял, покачиваясь на одной ноге, время тянулось нескончаемо... Наконец он схватился за перила. — Я все же должен вам объяснить... Огромный дом, который вы освещаете своим присутствием и в котором, по обыкновению, помимо вас обитает еще один призрак, так на меня похожий, такой пустой и никчемный — да простит она мне эту наглость, но никто так не смеялся над ней, как я, часто до слез, — этот дом стоит на верхней точке проклятого города, города-шлюхи. Я говорю об этом не в метафорическом смысле, поскольку все, что касается шлюх, я знаю досконально. Башня виллы — крайняя точка, и в прежние времена, когда алкоголь еще не опустошал душу, а позволял видеть изнанку вещей, случилось мне проворно взбираться по лестнице на террасу, где я совокуплялся с милой подругой... Да, месье, мы совокуплялись, и, несмотря на жесткость камня, я чувствовал под собой нежность ее послушного тела, так не похожего на матрас. — Он повторил: — Так не похожего на матрас... — Потом Бэрримор тяжело опустился на ступеньки и закрыл глаза; я подумал, что он заснул, поддавшись опьянению, но его голос зазвучал вновь: — Они там, внизу, на дне... там, где им и место... им, варварам, кровавой мафии, котлу, в котором плаваются преступления... Я помочусь на них сверху, особенно на Вальтера Врангера... Они скажут вам: «Он пьет». Это правда, я пью, великий Джон Бэрримор пьет! Все эти годы, месье, он испытывал страшную жажду, и все ради того, чтобы забыться, чтобы наполнить обширную впадину, в которой когда-то была душа, бочку, распахнутую для любой существующей в мире жидкости, для всех виноградников Бургундии и Шампани и еще многих прекрасных и сочных стран, включая старую Шотландию с ее бочонками! Ну да, для любой жидкости, даже для одеколона! Во всем есть алкоголь! Зачем он пьет? Он же разрушает себя!.. Глупцы! Напротив, я созидаю себя! Я скапливаю, перегоняю, собираю, я раздуваю, распухаю, объедаюсь, я бурдюк, чан, переполненный мочевого пузыря! Столько лет я работал над величайшим творением, и вот день настал (даже если сейчас ночь), в который я совершу задуманное: с высоты башни обрушу на них водную массу, бездонное море, новый потоп, в котором не спасется ни один Ной и за который так дорого заплачено. Естественно, я имею в виду не деньги, а свою жизнь. Этот с таким трудом выношенный, вскормленный замысел я медленно, терпеливо и с достоинством донесу до вершины лестницы, до самой башни, потому что, вы ведь знаете, месье, лишь достоинство способно скрасить пошлость производимого действия, и утоплю их в бесконечном потоке своего презрения. — Счастливая, почти детская улыбка осветила его лицо, и он попытался, правда безуспешно, подняться. Я направился к нему, но он остановил меня. — МОЕ величайшее творение! — Джон нащупал перила и схватился за них. Я видел, как сжались его пальцы, напряглись мускулы, покраснела кожа, и медленно, с усилием он поднялся (его лицо при этом сохраняло умиротворенное и счастливое выражение), подмигнул, как будто все это было шуткой, и медленно произнес по-французски: — Лучше подняться невысоко, но без посторонней помощи... Цитата из французской пьесы...

— Я знаю.

— Мое уважение к вам растет с каждой минутой. Я думал, вы немец.

— Я из Вены.

— Здесь каждый второй из Вены. Я забираю обратно часть уважения.

И Бэрримор начал подъем довольно решительным шагом. Он попросил меня позволить ему самостоятельно закончить восхождение. Джон совершил то, что задумывал. Попытался, по крайней мере. Впрочем, я уже упоминал об этом.

## 5

Стоит вспомнить это бесконечное бегство. Вилла была не больше, чем убежищем, выбранным на достаточно долгий срок, норой, в которую зарывается загнанный зверь, когда он уверен, или притворяется, будто уверен, что оставил позади свору преследователей.

Можно было сойти с ума, подсчитывая гостиницы, или комнаты в этих гостиницах, окна которых оказывались всегда слишком доступными для любопытных взглядов. Она легко переносила постоянные переезды: обремененная лишь несколькими чемоданами, эта женщина везде была проездом. Вилла смогла удержать ее, хоть и ненадолго, благодаря своему выгодному расположению: на самой высокой точке, над Голливудом, в конце дороги (поэзия и топография обрели в этом единство), и преследование теперь становилось в некотором роде невозможным.

Уверен, что каждый человек всю жизнь бежит. Даже те, кто утверждает, что никогда не переезжали, даже они бегут, прячутся в самих себя. И я бежал, как и все остальные. Наши решения, какими бы прекрасными они ни были, никогда не бывают окончательными. И мне кажется, у нас нет выхода, ни у кого из нас: или мы обретаем свое место (и это место единственное и одинаковое для всех), или обрекаем себя на сомнительное удобство временного пристанища. Ельмслев<sup>5</sup> говорил (это было в Упсале, тогда пошли слухи о том, что он больше тратит время на пиво, аквавит<sup>6</sup> и друзей, чем на лингвистические исследования, которые вскоре принесут ему славу), цитируя шведскую поговорку, которую, я подозреваю, он просто выдумал: «Куда бы ты ни пошел, зад всегда придется тащить за собой». Возможно, всегда наступает день, когда эта часть тела становится настолько тяжелой, что обездвигивает нас. Но таковы мы — люди из крови и плоти; у существ, сотканных из тени, все по-другому.

Я уже говорил, что нам пришлось два раза надстраивать стену вокруг дома, чтобы обезвредить вечно подстерегающих хозяйку фанатов, готовых забраться на дерево, лишь бы заглянуть в окна. Пришлось также выделить определенное время для телефонных разговоров, чтобы прекратить нескончаемый поток звонков. Она никогда не отвечала на письма, отказывалась получать их и замыкалась в решительном молчании перед журналистами после нескольких неудачных попыток заговорить.

Мы все ведем себя в определенной степени противоречиво, но она доходила в этом до крайности: публичный человек, она требовала соблюдения тайны, умоляла: «Оставьте меня в покое!» — и предоставляла себя толпе для обожания. Чем настойчивее ее преследовали, тем активнее она ускользала, и все попытки стать похожей на кого-нибудь делали ее еще более загадочной. По сути, свой образ она обрела еще в июле 1925-го, прибыв в Нью-Йорк в качестве «изобретения» Стиллера<sup>7</sup>. Газеты написали: «Шведский сфинкс появился среди нас».

Она говорила: «Справедливее было бы написать „карп“. Я была нема как рыба и

---

<sup>5</sup> Луи Ельмслев (1899–1965) — датский лингвист.

<sup>6</sup> Аквавит — бесцветный спиртной напиток крепостью около 40 %, популярный в Скандинавских странах.

<sup>7</sup> Мориц Стиллер (1883–1928) — шведский кинорежиссер, актер и сценарист.



первые два дня провела в ванной. Мне удалось заледенеть и высадиться на берег в то историческое лето».

Нас преследуют взгляды других, а публичный человек, тем более актер, постоянно видит вокруг себя лишь свое отражение. Счастлив Нарцисс, себя обожавший! Однако большинство изнемогает от отвращения и ненависти к самим себе; бегут не от людей — они лишь пустое место, но от изображения в глубине каждого зеркала. Великолепная бледная шведка сошла с корабля в самый разгар американского лета; за все те годы, что возвышалась ее тень, она не переставала бледнеть. Живая плоть и кровь постепенно питали портрет, в то время как модель, с которой он писался, угасала. Классическая история, однако, всего лишь история.

На вилле она была настоящей: здесь она обладала лишь собственным телом. Здесь она избегала смотреться в зеркало, но отражение преследовало ее.

## 6

Однажды она познакомилась с Мерседес. Потом выразила желание познакомиться с Мерседес меня — та уже давно жаждала нашей встречи.

— Мерседес говорит, что во Флоренции есть статуя Вакха. Не помню, кто скульптор. И что этот Вакх — вылитый ты.

— Из чего статуя?

— Я серьезно говорю. Она просто потрясающая женщина. Она везде побывала, все прочитала и знакома со всеми на свете.

— И для полной коллекции ей недостает меня?

— Штернберг много рассказывал ей о тебе.

Штернберг вполне мог так поступить, чтобы отвязаться от нее: Мерседес, появившись в Голливуде с толпой слуг, экстравагантными выходками и коллекцией черных шалей, стала частым украшением и развлечением на светских вечеринках и в окружении Штернберга, особенно потому, что это было время ее увлечения Марлен Дитрих.

Что ж, я познакомился с Мерседес — не на вилле («Ты что, с ума сошел!»), — и наш первый разговор, точнее, ее речь, касался последних двадцати лет истории культуры. «Сквозь замочную скважину мы наблюдали за легендарным Эрнестом, видели бы вы, как он шел по улице, награждая ударами пустоту, его принимали за боксера-неудачника, ах, несчастный, несчастный Скотт Фицджеральд, Зельда была так лучезарна (печальный вздох), последний раз, когда она встретила Гертруду Стайн, что удивительно, Элис Токлас с ней не было, бедняжка Гертруда выглядела такой потерянной, а потом вдруг пришел Пикассо, ни у кого больше не видела подобных глаз, а какие грубости он говорил, я не осмелюсь повторить, но тогда она так и не дождалась дорогого Жана, который был неизвестно где, что же касается Пруста, вы наверняка согласитесь со мной, эти его неясности, нескончаемые фразы, полные вводных предложений и скобок, великолепный сноб, ссылавшийся на приступы удушья, чтобы ускользнуть от вас и запереться в комнате, полной, как ему казалось, пробок, нужно быть сумасшедшим, чтобы в голову приходили подобные мысли...»

— Она удивительно пылкая, а от тебя она просто в восторге.

Но она уже уехала и позвонила мне как-то вечером, чтобы сказать, что теперь она с Мерседес и что Мерседес просто невероятна.

Вернулась она через неделю с багажом осознания собственной души и с проявившейся — в первый раз за всю ее жизнь и, несомненно, последний — любовью к чтению.

— Ты ничего мне об этом не рассказывал!

Я вряд ли смог бы разобраться в том множестве книг, которые она бережно разложила перед собой. Среди них можно было найти все, от Кришнамурти<sup>8</sup> до Шри Ауробиндо<sup>9</sup>,

---

<sup>8</sup> Кришнамурти Джидду (1895/97–1986) — индийский мыслитель и поэт. — Примеч. ред.

включая Упанишады и конечно же Гурджиева<sup>10</sup> в довершение всего.

В их компании она провела весь следующий месяц, прерываясь на долгие беседы с Мерседес и шалости вроде: «Поеду помедитировать у Тихого океана».

Со своей стороны я избегал встреч, насколько это позволяла вежливость, но не мог уклониться от телефонных разговоров.

— По-видимому, я обаятельный, — признался я как-то Штернбергу, который рассмеялся в ответ и сказал:

— Так и есть! То же говорит Марлен.

— Ну да, как змей. Только выигрывает от этого по-прежнему Адам. Знаешь, что видит во мне Мерседес? Лишь отсвет Богини. Она создает сейчас новую религию: поклонение Богине. Только божество, которое она для этого использует, знало и лучшие времена.

— Ей удалось преуспеть в задуманном?

— Хочешь сказать, должен ли бог верить в самого себя?

Штернберг как будто задремал на мгновение, раздумывая над вопросом, потом, как обычно, послав подальше метафизику, заявил, что «все это ничто по сравнению с симпатичной попкой», и мы отправились развязывать мои папки.

— Кстати, по поводу попок, — продолжил он, пока мы разглядывали негативы, — меня недавно навестил Джон Гилберт<sup>11</sup>.

— Я думал, он ненавидит тебя.

— Он и правда ненавидит меня. Даже больше, чем раньше. Но из-за всех этих неприятностей с голосом он готов пойти на сделку с самим дьяволом. — Появление звука в кино нанесло серьезный удар по карьере Гилберта, его высокий голос делал смешными его персонажей. Студия прикладывала все усилия, чтобы спасти его имя, но мало что удавалось. — Представь, я спокойно любовался твоими фотографиями, когда он обрушился на меня. Выражения не описать, бледный, с налитыми кровью глазами, с походкой завязатого пьяницы, и тут же его как будто парализует от ужаса. «Что это такое? Объясните мне, что это?» А я ему очень вежливо и внятно отвечаю: «Вы прекрасно видите... Это то, что принято называть задом, господин Гилберт». Полный отвращения: «Мерзко, как мерзко!» Я продолжаю философски: «Не предмет несет в себе порочность, а взгляд, которым на него смотрят». Это вынудило его поменять направление удара: «Господин фон Штернберг, вы мне не нравитесь». Весьма отважно для человека, который пришел выпрашивать роль. К тому же он добавляет нечто, что сильно ухудшает его положение: «Не люблю евреев». Делаю вывод: «По той же причине, по которой не любите зады. У задов нет родины, так же, как и у евреев. К тому же у задов нет пола. Зады — символ демократического равенства... Господин Гилберт, я пью за зады!» С невероятным, можно сказать, героическим усилием он преодолевает почти гипнотическое очарование фотографий, отводит взгляд, шарит рукой по столу, пока не обнаруживает там бокал и, схватив его, провозглашает: «Пью за американских девушек!» Что я мог на это ответить? «Я знал, что мы в конце концов пойдем друг друга. Их задницы самые очаровательные из всех, которые мне приходилось видеть». Некоторое время он пьет, как будто не слышал моего ответа, медленно ставит стакан, потом вдруг бросается ко мне, бормоча что-то невнятное. В тот момент, когда Гилберт уже должен был меня настигнуть, он падает как подкошенный, как марионетка, у которой оборвались веревки, и задевает лбом наши бокалы на столе. Так я вышел победителем из своеобразного поединка с

---

<sup>9</sup> Шри Ауробиндо Гхош (1872–1952) — индийский мыслитель, создатель интегральной йоги. — Примеч. ред.

<sup>10</sup> Гурджиев Г. И. (1872/77–1949) — российский мыслитель-эзотерик. — Примеч. ред.

<sup>11</sup> Джон Гилберт (1897–1936) — популярный американский актер эпохи немого кино.

самим Джоном Гилбертом... Прекрасная сцена для фильма!

— Слишком прекрасная, возникают некоторые подозрения...

— Немного фантазии здесь, немного там... Но в основном я рассказал правду. Так что сделай над собой усилие и притворись, что поверил мне. Будешь моим свидетелем.

— С радостью, если для тебя это важно. К тому же наступит день, когда в живых уже не будет ни одного свидетеля... Понимаешь, Джозеф, когда всех, кого мы знаем, не станет, поскольку они, как и мы, лишь несчастные создания из хрупкой материи, и они уйдут со сцены и из людской памяти. Не будет играть роли то, что мы пережили и что видели. Лишь на бумаге и целлулоидной пленке останутся наши фильмы, книги, фотографии. И не будет другой правды, кроме той, которую мы выдумали. Ничего, кроме лжи и фантазий. И моих задниц, может быть.

## 7

Моя коллекция зародилась в Швеции в 1916 году, в Упсале, после того как я вступил в отношения с одной молоденькой медсестрой (с которой познакомился за год до этого, когда уже шел на поправку), чьи обнаженные бедра, угадывавшиеся под строгим белым халатом, не скажу, чтобы взволновали меня — у этого слова недостаточно значений, чтобы описать мои чувства, — но породили любопытство, которое постепенно, с годами превратилось в навязчивую страсть.

Я конечно же все упрощаю, придавая ясность тому, что можно было бы назвать продвижением в тумане, и эти слова — «моя коллекция» — означают не только постановку той самой неразрешимой задачи с кучей песка (когда вопрос заключается в том, чтобы посчитать, сколько в ней песчинок), но еще и желание создать умысел там, где раньше властвовала лишь случайность. Впрочем, здесь я иду на поводу у языка, за «случайными поступками» обычно скрываются желания, о которых мы не подозреваем; я глубоко уверен, что моя случайность имела свои причины и не могла появиться сама по себе.

Поначалу мне трудно было найти моделей для своего проекта, за исключением медсестры и еще двух девушек, с которыми она меня познакомила: почти каждая женщина находила лестным предоставить свое лицо для запечатления на фотопленке, очень удивлялась, если интересовались другими частями ее тела, и приходила в бешенство, когда я честно признавался, что собираюсь сфотографировать. Эти приступы нравственности, с которыми я так часто сталкивался, вынудили меня прибегнуть к услугам проституток; они, правда, тоже соглашались редко, а в случае положительного ответа требовали плату, значительно превышающую ту, которая полагалась за обычное обслуживание клиента. Поэтому я развивался в техническом смысле, но, за редкими исключениями, оставался неудовлетворен эстетически.

Что я искал? Меня интересовало то мимолетное переходное состояние, когда девушки, каждая в свое время, превращаются из подростков в женщин; когда их бедра и попки, ускользнув от угловатой неловкости и затверделости детства, уже приобретают нежную зрелость — знак перехода во взрослое состояние, а иногда и удивительную чистоту; когда двойная выпуклость спины обретает себя в точном изгибе, этот легкий овал, сквозь плотскую форму которого (но можно ли говорить в этом случае о плоти?) проглядывает не столько дух, сколько сама Красота, один из ее образов. Термин, который лучше всего отразит суть моего поиска, я позаимствую из музыки: гармония. Именно за ней я гнался, стараясь заключить время в форму, а иногда добивался той плотности на глянцевой бумаге, которую можно было бы назвать каплей вечности.

Так, постепенно, совершенствовались мои стремления и методы. С течением времени мой взгляд стал профессиональным, я научился видеть в модели будущую фотографию, начал распределять свои работы в неисчислимые папки и раскладывать их в строгом порядке; среди папок была предпоследняя — в ней лежало лишь несколько негативов, и

последняя — пустая, предназначенная для того, чтобы заключить в себя идеальный образ, к которому я стремился, где-то в глубине сердца понимая, что невозможно воспринять глазами неуловимую Идею.

После подобного объяснения становится понятно, почему первые модели — а речь идет о состоявшихся, на мой вкус, слишком состоявшихся женщинах, — не оправдывали мои ожидания. Однако они позволили мне прокормить себя, потому что постепенно моя работа приобрела некоторую известность, несмотря на секретность и псевдоним, за которым я прятался. Я решил двигаться в сторону прибыльности и начал продавать некоторые из негативов, несомненно, впоследствии осчастливившие нескольких коллекционеров. Именно тогда через кого-то из них я познакомился с Джозефом фон Штернбергом, который был проездом в Вене (он родился в этом городе, но успел уехать из него перед войной 1914 года). Он побудил меня отправиться в Америку в 1923 году, где, по его утверждению, я с легкостью смогу найти себе женщину по вкусу (он потом часто смеялся над неожиданной двусмысленностью фразы).

## 8

Как-то она заявила мне:

— Мерседес говорит, что я должна сыграть Жанну д'Арк.

— Ошибка.

— Почему?

— Ты — богиня, но никак не святая.

— Я не шучу!

К сожалению, это было так. Не знаю, каким нелогичным путем они пришли от индуизма к христианскому богословию, но в то время все больше расцветала мода на Жанну д'Арк, которая выражалась в мужеподобности гардероба и изменении стиля прически. В какой-то момент, влекомые жадной преобращенности, они исчезли на две недели, вновь отправились к океану, чтобы — как говорил Штернберг, который обожал придумывать каламбуры, особенно неприличные, — «гнать волну».

Вернувшись, она сказала мне, что они уезжали поработать над сценарием фильма о Жанне д'Арк, но результата не добились, хотя жили полной жизнью.

— Но что вы там делали?

Она надолго задумалась, потом ответила:

— Ничего... Ничего, о чем можно было бы рассказать. Нельзя же рассказать о песке и океане... Мы приходили на пляж в сумерках...

— Это уже достаточно необычно.

— Мы часами сидели там, ночью. Стояла такая тишина...

— Вместе с Мерседес?

— Почему ты ее так не любишь? Ты вообще никого не любишь.

— Я стараюсь мерить каждого его мерой. Не стоит обвинять меня, если перевешивает плохая сторона.

— Я люблю ее!

— Ты уверена?

— Абсолютно!

— А возможно, ты любишь то поклонение, которое она тебе выказывает? Аромат фимиама?

Она выразительно посмотрела на меня.

— Я знаю, что не особенно умна.

Моя правда была совершенно бесполезной, я винил себя за то, что искренность высказалась, не спросив у меня разрешения. Я сожалел о сказанном, а она, решив наказать меня, добавила:

— Мерседес не была в Швеции. Мы уезжаем.

И они уехали. Хроника Луэллы Парсонс тут же известила об этом весь мир. Штернберг разбудил меня ни свет ни заря:

— Не могу ждать. Ты только послушай, лучше б я никогда этого не видел! Послушай: «Она уехала, бросив своего гадкого маленького курносика...» Своего гадкого маленького курносика! Я в бешенстве!

— Это не Луэлла. Она на такое не способна.

— Она или другая — какая разница... Глаза б мои не глядели!

Они уехали. Вернулась она через два месяца. Разочарованная. Одинокая. Мерседес после долгого периода восхищения севером мечтала теперь лишь о Париже и поселилась там.

Ничего удивительного. Поначалу богам нравится аромат фимиама и поклонение жрецов, но со временем этот запах становится слишком сладким, и они начинают задаваться вопросом о причине священных воскурений. Что касается Мерседес, она пыталась (с помощью книг, духовных упражнений, девы-воительницы) создать образ, отвечающий ее фантазиям. И тоже была разочарована.

Однако студия «Метро-Голдвин-Майер» уже подготовила новую версию «Анны Карениной».

## 9

Леопольд никогда не жил на вилле. Порой я сталкивался с ним в достаточно неожиданных местах, в приемных, где все пространство заполнял его кудахтающий хохот. Его жесты были напыщенными, а взгляд пустым и сверкающим, как его большой Филадельфийский оркестр, в светской обстановке он способен был поцеловать даме руку. Обстоятельства вынудили меня считать его почти членом семьи.

Нужно отметить, что я не любил Леопольда. Я называю его так, поскольку для нее он стал Леопольдом с первой же встречи: «Нет, только не мэтр! Зовите меня Леопольдом. Но как вас называть, я пока не знаю», — и в этом был весь он, хотя при второй встрече его посетило озарение: «Я буду называть вас Козима<sup>12</sup>, а вы зовите меня Рихард... Рихард, ну, вы же понимаете, Рихард Вагнер!»

На следующий же день Луэлла Парсонс поспешила известить публику о новой идиллии века: «Он ей в отцы годится, но, похоже, ей нравятся люди настолько старше ее. Они оба знамениты, и они знали, что встретятся...» Приторное повествование, смесь из реальных фактов, глупых рассуждений и грязных намеков (одним словом, обычная стилистика Луэллы) о голливудском романе Принца и Принцессы обратила взоры и камеры к тому, что называли их любовью.

Что же это было на самом деле? Она говорила: «Ты никогда не поймешь, он — настоящий мужчина!» И это действительно было так, включая все то, что подразумевает под собой данное выражение: эгоизм, маленькие подлости и искреннее преклонение. Думаю, он по-настоящему любил ее. Возможно, и она его, хотя трудно в этой истории отделить выдумку от действительности. Без сомнения, представляя встречу Рихарда и Козимы, он искренне считал себя Вагнером, а ее видел Козимой. Однако этот Вагнер существовал лишь в стенах той самой Вальхаллы<sup>13</sup>, где было полно хлама и подделок, где Людовик II раздваивался в братьев Уорнер и где бродили, пошатываясь, пьяные божества: Гилберт или

---

<sup>12</sup> Имеется в виду возлюбленная и жена композитора Рихарда Вагнера.

<sup>13</sup> Вальхалла — в скандинавской мифологии дворец верховного бога Одина, куда попадают после смерти павшие в битве воины. — Примеч. ред.

Бэрримор.

Они встретились на вечеринке у Аниты Лус<sup>14</sup>, куда она отправилась только потому, что Анита очень настаивала, и откуда вернулась полная неиссякаемого вдохновения: как он красив! Эта белая грива, говорящие руки... Он так жалеет, что работает сейчас с Диной Дурбин<sup>15</sup> («хотя это довольно интересный опыт; ну да, забавно наблюдать, как функционирует ее крошечный пустой мозг; она постоянно называет меня мэтром и глупо блеет, видимо, из-за моего возраста»). Возраст он не скрывает, даже наоборот, кокетливо подчеркивает его, как писала Луэлла. Вглядит он прекрасно, был дважды женат, и вторая жена, все еще мадам Стоковская, преследует его по всему миру, а сам он еще не решил, заводить ли ему третью...

Она говорила: «Пожениться? Но супруги должны жить вместе, а как этого достичь, если я постоянно снимаюсь, а он дирижирует то тут, то там? К тому же мы оба знамениты, и никто из нас не согласится стать тенью другого». Распавшийся брак Джона Гилберта и Ины Клер глубоко задел ее, она любила Гилберта и обвиняла себя в том, что, сбежав от него, возможно, способствовала его падению (иногда она, случалось, винила во всем Марлен). «Но Леопольд настаивал, чтобы я приняла решение...»

И она приняла решение, типичное для себя: уехала в Стокгольм. Приближалось Рождество, которое она обычно проводила в кругу семьи, но одурочить ей никого не удалось, особенно Луэллу, выступившую на следующий день с таким заголовком: «Богиня бежит от земного счастья». Что касается Леопольда, он начал сразу же забрасывать ее телеграммами, пока она не согласилась наконец встретиться с ним в середине февраля где-то в Неаполе.

О тех месяцах, на протяжении которых длилась их идиллия, можно рассказать, опираясь на несколько источников. На сплетников, охочих до подробностей, то есть пены, выступившей на поверхность. Необходимо было различать косвенные слухи (хроники Луэллы, голливудские сплетни, многие из которых поставлялись пресс-службой «Метро-Голдвин-Майер») и терпеливое любопытство итальянских журналистов и фотографов, день за днем следовавших за ними по пятам, упрямо поджидавших их, несмотря на зимний холод, на пляже в Ривалло, осаждавших их жилища, а иногда и бравших их штурмом. Не стоит забывать об относительной скромности представителей шведской прессы, когда влюбленным было позволено укрыться в доме на озере Силлен. Плюс ко всему этому были еще громкие заголовки, множество фотографий, неясные домыслы — необходимые составляющие философии Луэллы, отражающей быстротечность времени и горький привкус славы. О них можно рассказать сквозь призму редких писем, которые я получал от нее (убористый почерк, ровный слог, краткое изложение событий), этих историй, много раз пересказанных и подправленных, с помощью которых она пыталась описать мне свое приключение. А можно рассказать, наконец (как я и собираюсь сделать), отказавшись от деталей, ясности и анекдотов, ограничив себя лишь крупными штрихами, ради того чтобы попытаться поймать суть.

Мне могут сказать, что я слишком обедняю себя, что мой рассказ рискует стать бескровным, лишенным жизни. Мне скажут: «Взгляните на Бальзака! Он облекал душу в видимую форму. Как психологичны его долгие и подробные описания!» На это я мог бы ответить: ничто нам не ведомо. Что мы можем предположить, например, о платьях принцессы Клевской (а о ее белье?). Бальзак, публиковавший романы главами, был вынужден нагонять строки. Смешон тот художник, который в безумии или восторге

---

<sup>14</sup> Анита Лус (1893–1981) — американская писательница и сценаристка, автор книги «Джентльмены предпочитают блондинок», по которой был поставлен фильм «В джазе только девушки».

<sup>15</sup> Дина Дурбин — прославленная голливудская киноактриса 1940-х гг. — Примеч. ред.

изнемогает, подражая неисчерпаемой действительности.

Леопольд вернулся первым. «Маэстро вернулся, один и с поджатым хвостом», — объявила Луэлла в «Los Angeles Examiner», однако последние слова исчезли при переиздании. Она вернулась через два месяца после него, внезапно, и погрузилась в обыденность, как ни в чем не бывало. Прошло несколько дней, прежде чем она попыталась рассказать все мне. Мы продвигались вперед медленно, терпеливо, на ощупь, избегая западни слов, сквозь длинные паузы и мгновения раздражения, мы пытались построить рассказ о том, что произошло. По изложенным мною выше причинам короткая запись содержит в себе самое существенное, то, чему я мог бы подвести итог, описав лишь место и атмосферу нашего разговора: слабоосвещенная комната, самая большая на вилле, она сидит прямо на полу, иногда откидывается на подушку, ее неизменно бледное лицо озаряется (это не метафора) слабым лучом света, о ее переживаниях можно догадаться лишь по тембру ее голоса.

— Он был привлекательным.

— Привлекательность бывает разной.

— Привлекательным в физическом смысле.

— Вокруг тебя масса физически привлекательных мужчин. Ты их даже не замечаешь.

— Да, но он умел еще и говорить.

— В изысканных болтунах недостатка тоже не наблюдается.

— Может быть, манера речи...

— Думаешь, если бы кто-нибудь заговорил с тобой в той же манере, ты стала бы его слушать?

— Хочешь сказать, что дело не в его внешности, не в манере разговора, а в нем самом... Да, вероятно.

— Эта привлекательность, она ведь возникла не благодаря его личному обаянию, а независимо от него, она существовала еще до вашего знакомства.

— Его известность, авторитет... Не будешь же ты утверждать, что я любила мираж?

— Я ничего не утверждаю.

— Миражей тоже достаточно вокруг меня.

— И почему же ты обратила внимание именно на этот?

— Не знаю.

— Наверняка он обладал чем-то, чего ты не могла найти у других.

— Чем же?

— Ничем. Во всяком случае, ничем из того, что мы перечислили: ни внешностью, ни особой манерой речи, ни авторитетом. Выясняется, что дело вовсе не в привлекательности.

— А в чем же?

— Что в нем было такого, чего нет у других?... Ясно, что ответ нужно искать не в нем.

— Хочешь сказать, причина во мне?

— В тебе или в ваших отношениях.

— Что-то в наших отношениях делало его не похожим ни на кого другого?

— Вероятно.

Она задумалась. Через минуту она сказала:

— С ним я чувствовала себя женщиной. — Потом уточнила: — Ни с кем, кроме, может быть, Морица, но тогда я была слишком молода и многого не понимала... С Леопольдом в первый раз у меня появилось ощущение, что кто-то сумел меня разглядеть, не кого-то сквозь меня, а... Да, я стала наконец обыкновенной женщиной...

— Но иллюзия рассеялась через несколько месяцев.

— Потому что не существует необитаемых островов.

— А вы искали необитаемый остров?

— Да.

— Ты — без сомнения. Но искал ли он?

- Думаю, да.
- Для того чтобы стать женщиной, необходимо встретить мужчину.
- А он не был мужчиной?
- Он был знаменитым дирижером оркестра, или, скорее, павлиньего семейства.
- Как-то утром я захотела пойти с ним искупаться на озеро. Нужно было встать на заре и разбить образовавшийся за ночь лед. Он не захотел. Пришел в ужас.
- Испугался за свои перья.
- Он сказал, что это безумие и что ни одна женщина... — Она надолго замолчала. Потом повторила: — Он сказал, что ни одна женщина...
- Значит, и он тоже...
- ..добился того, что я это сказала?
- Разве я говорил: «Ты такова» или «Ты не такова»?
- Хуже: ты заставляешь меня саму говорить.
- Зачем обвинять того, кто лишь держит зеркало?
- Великолепное зеркало, которое отражает одну пустоту!
- Так сказал Бог, когда в первый раз посмотрел на себя в гладь вод. Напрасно. Ведь Бог, как и ты, миф. Но он, чтобы узнать себя, все же сделал глупость и создал человека. По своему образу. И теперь он может смотреть и вслушиваться сполна. Отсюда все наши беды.
- Однажды мальчишка бежал за мной с блокнотиком для автографов в руках, но я спряталась... Ему стоило бы знать, что нельзя никого преследовать!
- Как хорошо, что ты спряталась! Мы люди бывалые, но ты была права, не позволив ему приблизиться: не стоит разбивать мечты мальчишек.

## 10

Трудно было сказать, как она проводит свободное от съемок время, она просто позволяла времени проходить. Читать она не любила, да и шведская литература не обладает достаточным богатством, чтобы привить страсть к чтению. К тому же ей не хватало терпения. Она с трудом согласилась пролистать «По эту сторону рая», после того как встал вопрос о съемках фильма по первому роману Скотта Фицджеральда. Книга быстро прискучила ей, ни герои, ни сюжет не вызвали особого интереса.

Случалось, она просиживала долгие часы на кухне вместе с Сигрид, большую часть времени в молчании, нарушаемом лишь монотонным чириканьем попугайчиков, или отправлялась на конную прогулку в компании Густава, вне зависимости от того, какая была погода, бесцельную прогулку, прерываемую внезапными остановками, не для того чтобы полюбоваться пейзажем — она не обращала на него внимания, — а чтобы присесть. Я ждал, и мы ни разу ни на кого не наткнулись, люди не забредали в эти места, где было так легко заблудиться. Иногда ее прогулки напоминали безудержное бегство, через мгновение можно было лишь различить расплывчатый силуэт вдаль или только догадываться о его существовании, как будто она хотела увезти с собой, глубоко, в лесную чащу, пронзительное любопытство тысячи глаз, постоянно удерживавшее ее в болезненном коловращении ненависти, страсти, любви и восхищения.

Не сказал бы, что она жаждала одиночества, и в то же время она не чувствовала неудобства, когда бывала одна, хотя в каком-то интервью — не помню, для какого журнала, — утверждала обратное, описывая смятение, в которое погрузила ее смерть Стиллера: «Он научил меня всему, что необходимо знать начинающей актрисе: как нужно есть, поворачивать голову, выражать любовь или ненависть... Он подсказывал мне, что нужно сказать или сделать. Когда он умер, я ощутила себя кораблем без якоря...» Или еще вот здесь, где она описывает свои сложные отношения с английским языком: «Я говорю плохо, чувствую себя неловко и застенчиво». А вот ее размышления, традиционный штамп о том, что «актрису должна окружать тайна... Художник всегда одинок...» С самого начала в



ней была предрасположенность, которую так четко выявил кто-то из критиков, — «воплощать страдание одиночества».

Я ей объяснял:

— Сначала существовали актрисы, их звали Сара Бернар или Дузе. Потом появились «звезды», способные, однако, жить вне Олимпа. И сейчас существуешь ты.

— И во мне пустота.

— Такова цена. Как в старой сказке. Но в сказке теряли лишь душу, теперь расплата дороже.

— А если я уже пресытилась этим?

Она сказала это так, будто ее вопрос следовал из нашего разговора, но в нем звучал другой смысл: «В следующем фильме я буду смеяться». В ответ я сказал только: «О!»

Она настаивала:

— Да, я буду смеяться! Как обычная женщина. Любич — постановщик фильма. Он говорит, что в этой сфере меня совсем не использовали, даже Мориц. Он откроет зрителям нечто, что еще никто не видел... Ты молчишь?

— Я сказал: «О!»

— Ты сомневаешься, я вижу... Думаешь, я неспособна смеяться?

— Способна. Я слышал твой смех. У тебя очень милый смех.

— Тогда в чем дело?

— Ни в чем. Я же сказал, ты можешь смеяться.

— Но не она, да? Ты это имеешь в виду?.. Она, которой не существует, решает, что мне делать или не делать, мне, живой женщине?! Так вот! Я буду смеяться! И она засмеется! Ты против?

— Тебе все же стоит подумать.

— И если я подумаю?..

— Ты передумашь смеяться.

— Захочу, и буду смеяться!

— Ты действительно думаешь, что умеешь смеяться?

— Кто ты такой? Да кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать?!

Я не указывал. Она это знала. Она выбежала из комнаты и через секунду хлопнула входной дверью.

В том 1939 году, в марте, в сверкающем великолепии (излюбленное выражение Луэллы) Голливуде вспышки празднеств соперничали с нежностью ранней весны, и в парке аромат эвкалиптов растворялся в благоухании жимолости.

Я поднялся на второй этаж башни, с которого сквозь изобилие листвы была видна нижняя часть бульвара и крыши города.

Я ждал. Пыльная, поблекшая бархатная занавеска терлась о мою щеку. Она должна была сначала пройти сквозь парк, потом спуститься в ту часть бульвара, которая скрывалась за деревьями и оградой виллы. Наконец она появилась. Мальчишеская фигурка удалялась от меня все больше и больше, быстрым шагом, как в фильмах, в которых герои, пройдя сквозь испытания и трудности, истерзанные и умиротворенные, уходят по пустынной дороге навстречу будущему. Но то была лишь иллюзия, потому что последний кадр снят уже давно: ее лицо крупным планом, неподвижное, огромное, как будто и не принадлежащее человеку, белая страница, которую каждый заполняет своими грезами. Она могла бежать и сбежать, но все же оставалась — неизменная, сверкающая, бесплотная и неподвластная времени.

## Город

Голливуд, который часто именуют фабрикой грез, в первую очередь сам является мечтой. Обычно рассказывают, что какой-то человек (или их было несколько — не важно) решил устроить на этом месте нечто, что выглядело в ту пору чистой авантюрой (желание заработать и привлечь к себе внимание, изворотливость и жадность крепко переплелись в нем с искренним воодушевлением) и плохо сочеталось с тогдашней Америкой. Конечно, металлический отблеск синего неба, прозрачная сухость воздуха и неумолимое солнце играют во всем этом свою роль. Подобная погода позволяет, например, снимать зарю на закате и почти круглый год не зависеть от метеорологических капризов. (Здания, покрашенные в белый и желтый, еще больше усиливают эффект ослепления, и когда я 18 июля 1924 года впервые оказался там, все еще окутанный туманами Европы, хотя год успел прожить в Нью-Йорке, мне казалось, что свет словно поглощает меня.) Однако не стоит ограничиваться внешним, так как, чем глубже погружаешься в историю этой страны, тем очевиднее становится ее близость к иллюзии (решимость Колумба, эпопея с «Мейфлауэр»<sup>16</sup>, золотая лихорадка) — до такой степени, что возник этот город, отражающий саму суть: создание иллюзий самой иллюзией. Его знаменитый холм, будто ради контраста погруженный в тень, улицы, отличающиеся одна от другой не столько названиями, сколько растительностью (здесь — клены, там — величественные магнолии, возвышенная бледность эвкалиптов, чуть высохшие пальмы и сосны и огромные сикоморы). Растительное безумие, претендующее на логику.

От Бенедикт-Каньона дорога, петляя, поднимается вверх, на холм Беверли-Хиллз, вдоль которого красуются экстравагантные виллы продюсеров и кинозвезд, а над ними, как напоминание о существовании и другого мира, который часто именуют обычной жизнью, разделяя мощный поток Съенага-Бульвара, виднеется вычурное архитектурное сооружение — буровая вышка. В своем барочном художественном безумии эта постройка здесь самая реальная, она невозмутимо возвышается над глубинами, в которых столько тайн превратилось в пыль, нефть, черную кровь.

## 2

Как я уже рассказывал, Штернберг, оказавшийся проездом в Вене, где я жил, и навестивший меня, вернее мою коллекцию (каким образом новость о проекте, который только набирал силу, весьма неумелом и скромном, добившемся лишь маленькой известности в Австрии, добралась до Америки?), выслушал рассказ о трудностях, связанных с подбором моделей, и посоветовал мне попытаться счастья в американском кинематографе. Я еще долго сомневался бы, если б не одна неприятная история с вымогательством, которая вынудила меня срочно принять решение. Я работал тогда над почти безупречной попкой одной несовершеннолетней девушки, но однажды утром появился ее отец в сопровождении сомнительного полицейского, он потрясал фотографиями, изрыгал угрозы и требовал такую сумму за честь своей дочери — уже достаточно потрепанную, так как ее не особенно берегли, — что мне понадобилось несколько часов, чтобы уговорить его на компромисс.

Штернберг советовал лететь самолетом, но я не слишком доверял этим неудобным двухмоторным машинам с кабинкой пилота, которым требовалось восемнадцать часов, чтобы перебраться на западную сторону, и хорошие погодные условия, чтобы не врезаться по дороге (что, на мой взгляд, происходило с ними слишком часто) в горы Аллегейни или Скалистые горы. Итак, как многие в ту пору, я сел на поезд «20th Century Limited», покинул Нью-Йорк в разгар июля в шесть часов вечера в одном из спальных вагонов поезда, знаменитых благодаря кино, и добрался до Чикаго на следующее утро. Недолгое время, тем

---

<sup>16</sup> «Мейфлауэр» — название корабля, на котором группа английских переселенцев прибыла в 1620 г. в Северную Америку, чтобы основать там первое британское поселение.

не менее показавшееся мне вечностью, мы простояли на сортировочной станции, прежде чем наши вагоны около полудня прицепили наконец-то к поезду «Santa Fe Chief», которому потребовалось два долгих дня, чтобы пересечь Америку и оказаться в Лос-Анджелесе. Я не жалел о продолжительности пути, ее скрашивала увлекательность поездки, и когда на следующий день моим глазам предстал Голливуд, мне показалось, что я достиг... не приходит в голову другое словосочетание, кроме как «иной край». Подобно пленнику из диалога Платона, выбравшемуся из полумрака пещеры навстречу нестерпимому сиянию огромного солнца, много месяцев подряд я видел лишь смутные очертания и силуэты и должен был, временно ослепший, передвигаться на ощупь, прежде чем, прозрев, нашел свое место в новой вселенной.

### 3

Ровно через год, в 1925-м, 6 июля, почти день в день прибыла и она, но не стоит цепляться за эту параллель: не было ничего общего между тихим приездом иммигранта из центральной Европы и всеобщим бурлением, встретившим пароход «Drottringholm», когда тот после месяца путешествия прибыл в Нью-Йорк на рейд. Нет, никто не толкался на набережной, не было толпы, обычно преследовавшей Валентино или охотившейся за Джоном Гилбертом, потому что почти никто в этой стране не смотрел шведских фильмов. Шумиху вызвал Стиллер, по просьбе Луиса Б. Майера захвативший помимо багажа ту, кого газеты называли шведской Нормой Ширер<sup>17</sup>. Агенты студии умели хорошо работать и одним выстрелом убили двух зайцев: выставили напоказ странность и самовлюбленность Стиллера и начали выписывать образ, который обрстет вскоре легендами и превратится в шведского сфинкса.

Я стоял на набережной, не подозревая о значимости происходящего, так как она была для меня всего лишь молодой неумелой актрисой, чью неуклюжую игру я видел в плохом фильме, в Швеции, а до этого она являлась молчаливым, угрюмым подростком, с которым я однажды столкнулся в Упсале. Я видел, как они сходили на берег, Стиллер шел по сходящим впереди, и его мощная фигура полностью загораживала ее; но все было уже по-другому при встрече с журналистами на берегу. Именно благодаря прессе я узнал, что они остановились в гостинице «Коммодор». Туда я и отправился на следующий день.

Сначала Стиллер поинтересовался через служащего, который стоял за конторкой администратора, какую газету я представляю, потом заявил, что дама никого не принимает. Несколько долларов убедили служащего пропустить меня, и вскоре я уже звонил им в дверь.

Открыл Стиллер, огромный, в расстегнутой рубашке и с вентилятором в руках, он встревожено поинтересовался, где же проклятое пиво. Он странно говорил по-английски, свободно, но с акцентом. Я ответил, что не знаю.

— Что же это за гостиница?

Я ответил, что не знаю и этого.

— Кто вы такой и что вам надо?

Я представился.

— Опять вы? Почему, черт побери, вы не хотите сказать, на какую газету работаете?

Я ответил, что ни на кого не работаю.

Минуту он разглядывал меня (вентилятор приподнимал серую шерсть на его мощной груди), потом разразился благодушным хохотом.

— Входите... Люблю нахальных типов. — Он подошел к столу, схватил графин и опрокинул его содержимое себе на голову, не прекращая браниться, несмотря на струящуюся по лицу воду. — Проклятая жара! Никогда с такой не сталкивался! Вы в курсе?

---

<sup>17</sup> Норма Ширер (1902–1983) — одна из самых прославленных в 1930-х гг. американских актрис.

Говорят, уже несколько людей умерли. — И добавил, как будто эта новость внезапно привела его в восторг: — Такова Америка! Садитесь. Я сидеть не могу. Можете записывать, если хотите.

Я попытался в очередной раз объяснить, по какому поводу... но он тут же прервал меня.

— Старик, со мной это не пройдет. Знаете, сколько времени я работаю с журналистами? Есть такая поговорка: старую обезьяну гримасам не научить. Поверьте, я намного старше вас... Так что, нет, ее вы не увидите. Это решение касается не только вас, она никому не дает интервью. Кстати, а что вы хотите от нее услышать? Она на английском и трех слов связать не может, и ей нечего сказать...

«Он говорил правду, — объяснила она мне через несколько лет, после того как я пересказал ей эту сцену. — Хоть он и принял тебя за журналиста, но все же не рассказал, что я все дни провожу в ванной... Что за лето! Мы не могли понять, почему Голливуд молчит, и спрашивали себя, не окажется ли все это каким-нибудь большим недоразумением — как будто ожидали не тех, кто приехал. И Мориц не переставая поносил последними словами (какими-то еврейскими ругательствами — я не запомнила) этого Майера, который приобрел известность в творческой элите только благодаря своему счету в банке. Мориц грозился, что мы снова сядем на пароход. Он знал себе цену, знал, что в Европе есть только он и Эйзенштейн, остальные остались далеко позади... Мне же оставалось только ждать, я ничего не решала, мне нечего было сказать. Обычная простушка не в своей тарелке, с которой ты когда-то познакомился в Упсале, неизвестная или почти неизвестная актриса... Я всем обязана ему, он меня создал...»

«Знакомый припев, — заявил Штернберг, — и все же... В первый раз, когда я встретился с Марлен, на ней был такой широкий наряд, что в него мог поместиться целый гиппопотам; когда я попросил ее пройтись, она начала шататься из стороны в сторону с удивительно тупым видом и совершенно отсутствующим взглядом. Яннингс<sup>18</sup>, который присутствовал при этом тягостном представлении, прошептал мне на ухо, что именно такой взгляд бывает у коровы, когда она телится... Да, Яннингс знал в этом толк: он держал у себя дома, в квартире, настоящий курятник, но все-таки он был артистом и потому награждал куриц именами кинозвезд... Такой была Марлен в самом начале. Сколько же мне пришлось над ней работать!.. Разве могут они после этого не обожествлять нас? Знаменитая легенда о Пигмалионе... Однако всего лишь легенда. В действительности те, кого мы создали, начинают воспринимать себя слишком серьезно. Какое ничтожество! Разве может комочек глины превзойти мастерство скульптора?»

Все не так просто, и для начала хорошо было бы понять, что за вид любви бросил подростка, плохо приспособленного к обыденности жизни, в объятия человека, который по возрасту мог бы быть ей отцом. Знаю, Фрейда я читал, как и все, или, скорее, в отличие от всех, так как в то время им мало интересовались и «чума», которой он, как считается, заразил Америку, еще не стала обычным явлением. Согласен, из-за природного страха кастрации девушка не в силах подавить в себе кровосмесительное желание, но многое для меня остается непонятным: например, желание, расточаемое отцами на девочек, или то, что бросило Алкивиада в объятия Сократа.

Однако не буду выставлять себя сведущим в подобных вопросах. Согласен принять то, что Стиллер «всему ее научил», с обязательным добавлением: в первую очередь, он ее защищал, и не только от толпы, как она говорила («толпа меня пугает», «у меня никогда не получится из-за всех этих людей»), но просто от других, потому что каждое новое знакомство воспринималось ею как нападение, и долгая жизнь в одиночестве была для нее не прихотью, не привычкой, не выбором, а лишь необходимостью.

---

<sup>18</sup> Эмиль Яннингс (1884–1950) — немецкий актер, в 1920-х гг. снимался в Голливуде.

Парадокс заключается в том, что, переполненная подобными страхами, она сумела сделать карьеру в кино. Хотя, в общем-то, она ее не делала, она просто позволила этому произойти. Продавщица в шляпном отделе; Рагнар Ринг снимает ее в рекламе одежды; в магазин, где она работает, заходит Эрик Петчер и приглашает ее сняться в эпизоде комедии в духе Мака Сеннета<sup>19</sup>; великий Стиллер видит фильм и ищет с ней встречи. «Все это происходило как будто независимо от меня».

Через полчаса я протиснулся. Я все же надеялся (но напрасно) увидеть ее и прослушал всю личную биографию Морица Стиллера, вполне захватывающую и убедительную, после чего пообещал ему, так как мое постоянное отрицание ни к чему не приводило, что тотчас же опубликую рассказ в своей газете.

#### 4

Расскажу о Степане. Хоть он никогда не был с ней в близких отношениях, однако все же сыграл в ее жизни роль хоть и скромную, но довольно значительную. С его помощью мне удастся лучше разглядеть лицо города, которое так часто стремятся скрыть хроникеры. Степан приехал в Голливуд сразу же после меня, вместе со Штернбергом — тот захватил его с собой после очередной поездки в Европу. Красив как бог — специально употребляю этот штамп, поскольку здесь, где красавцы не редкость, многие оборачивались ему вслед, и всем хотелось знать, в каком фильме его можно будет увидеть. Штернберг почти сразу же предложил молодому человеку заключить контракт. Степан согласился поехать с ним, но от контракта отказался по весьма туманной причине: «В мире и так все меньше настоящего, согласиться сыграть в фильме значит полностью исчезнуть». Он объяснил, что видел в своей жизни только один фильм: «Мне было десять или одиннадцать лет, не помню ни подробностей, ни обстоятельств просмотра, ни названия фильма, ни сюжета. Могу лишь вспомнить какие-то мерцающие изображения, фигуры в белых капюшонах с отверстиями для глаз, с черными крестами — наверняка ку-клукс-клан. Еще там были языки пламени — все это уже создавало ощущение нереальности, а потом вдруг — то, что случилось, я понял значительно позже: просто сломался кинопроектор, — изображения стали путаться, растворяться, и яркое, обнаженное, пустое, искрящееся белизной полотно экрана устремилось ко мне. С криком я выбежал из зала и пробежал несколько километров, спасаясь от прожорливого небытия. Никогда в жизни я больше не ходил в кино». По тем же причинам он не прочел ни одного романа: «Мир, который существует лишь благодаря словам, постепенно обрисовывающим его. Это только слова, иначе говоря, ветер, и достаточно любой мелочи, чтобы прервать бег пера, набрасывающего их (любая прихоть, скоропостижная смерть). Переворачиваете страницу и оказываетесь на краю бездны».

Штернберг, который любил чудаков, решил не отчаиваться из-за его отказа и привез его с собой. Чтобы уговорить Степана, он постарался раскрыть перед ним все преимущества Америки. Степана, чеха по происхождению, только достигшего двадцатилетнего возраста, выставила за дверь и бросила в Вене на произвол судьбы одна австрийская графиня, чей муж, дипломат, работающий в иностранном государстве, неожиданно вернулся домой. «В Голливуде мужья озабочены в основном тем, как бы разбогатеть, они занимаются бизнесом, а не любовью, и молодые люди вашего типа всегда могут с легкостью найти себе чью-нибудь брошенную, одинокую жену».

Желаемого результата добиться не удалось, но Штернберг от души радовался успеху своего протеже: Степан нашел свою землю обетованную, он продавал собственное очарование одиноким дамам и забытым актрисам. «Когда я смотрю на них, я вижу не их

---

<sup>19</sup> Мак Сеннет (1884–1960) — американский кинорежиссер, который работал только в жанре эксцентрической комедии.

лица, а то, что скрывается за ними. Ничтожества. В нашем общении есть что-то трупоядное». Остальным оставалось только снимать его на время, насколько позволял возраст, потребности или же внешний вид. «Дело в том, — объяснял он, — что я обладаю редкими качествами, которые могут составить счастье каждой женщины: умение вызывать эрекцию и абсолютная бесплодность». Он утверждал, что почерпнул это умение в возрасте пятнадцати лет из сочинения, в котором описывались некоторые индийские практики, связанные с контролем гладких мышц (тема эрекции там не разбиралась, из книги он взял лишь основу), и после двух лет постоянных упражнений Степан тешил себя надеждой, что обрел власть над своим членом: «Во всяком случае, раз, два из трех — удачные».

Однажды, он принялся писать. Полностью поглощенный, он составлял «Трактат ни о чем», в котором намеревался доказать призрачность мира. Первые страницы были написаны с восторгом и простодушием, потом он познал тоску сомнения, временное бессилие, возвращающееся вдохновение и тягостность неудачи — одним словом, тяжелый труд писателя. Страницы накапливались довольно медленно. «Однажды я вдруг понял: передо мной лежит сотня страниц, и каждая новая написанная мною страница увеличивает эту кучу. Составляя „Трактат ни о чем“, я создаю нечто, и это нечто, в которое я загнал себя, совершенно бессмысленно, поскольку то, что я собираюсь доказать, упирается в выставление на показ самого себя».

Я попытался утешить его и рассказал о греках скептиках, сталкивавшихся с подобными трудностями. Против них позже выступил Монтень: «Я вижу философов-пиррников<sup>20</sup>, которые никоим образом не в силах выразить свою главную идею, так как для этого им понадобился бы новый язык. Наш же язык весь состоит из утвердительных предложений — их главных врагов. Даже когда они говорят: „Я сомневаюсь“, их тотчас же заставляют признать, что они по крайней мере знают о своем сомнении и утверждают его существование».

— Суровое рассуждение. Все это неразрешимо. Но необходимо найти решение. Действительно. Однажды он найдет его.

## 5

Свадьба Хамфри Богарта<sup>21</sup> и Мэйо Метто стала одним из величайших событий года. Хотя к тому времени Богарт еще не достиг пика популярности, он был своим человеком в Голливуде, возможно, потому, что обладал удивительным свойством выдерживать большое количество алкоголя в среде, где не наблюдалось нехватки в соперниках. «Весь Голливуд спешил на эту свадьбу, — заметила Луэлла. — Нам надолго запомнится церемония и последовавший за ней шикарный прием, который продлился до самого утра. Долгой и счастливой жизни новобрачным!» Известно, что в результате получилось из этого великолепного союза: они постоянно дрались. Однажды она порезала себе запястья, но не до такой степени, чтобы умереть, иначе ей не удалось бы спустя время поджечь их виллу и, когда Богарт решил уйти от нее, засадить ему в спину кухонный нож. Его привезли в больницу мертвенно-бледного и истекающего кровью, но не потерявшего собственное лицо.

Свадьба была чем-то само собой разумеющимся, так как официальная позиция вынуждала к хеппи-энду: студии слишком долго терпели сумасбродные выходки капризных

---

<sup>20</sup> Пирроники — представители раннего периода скептицизма (по имени основателя скептицизма — Пиррона). — Примеч. ред.

<sup>21</sup> Хамфри Богарт (1899–1957) — знаменитый американский киноактер; среди фильмов с его участием — «Касабланка». — Примеч. ред.

и часто глупых звезд, скандал следовал за скандалом (дело Фэтти Арбакла<sup>22</sup> лишь самое громкое), и потому, неспособные изменить людей, они решили поменять стиль подачи сюжета. В кинофильмах царствовала мораль, которую обеспечивали жесткие правила кодекса Хейса<sup>23</sup>, а суматоху обычной жизни требовалось обуздать с помощью определенных служб (получавших щедрое вознаграждение): полиции и прессы, чья болтливость тщательно контролировалась.

Итак, еще один законный союз вступил в силу под звуки органа и романсы о цветущей любви, в то время как по другую сторону декораций продюсер Вальтер Врангер, безумно и отчаянно влюбленный в актрису Джоан Беннет, которая, в свою очередь, как в трагедии Расина, обожала антрепренера Дженнингса Ланга, выпустил несколько пуль в яички соперника, что говорит о его великолепной меткости, но является неприемлемым как для вестерна, так и для приличного общества.

Луэлла была права, и весь Голливуд собрался там, еще до нашего прибытия. Ее приезд произвел фурор, потому что, как я уже говорил, она редко принимала участие в подобных демонстрациях; она не фантазировала, когда признавалась в своем страхе перед толпой. Дело было не в столпотворении, а в том, что она чувствовала неисчерпаемое и жадное присутствие каждого. Я вероломно бросил ее в объятия Луэллы и на растерзание своре.

Трудно было понять, что освещает ночь: конечно же луна в своем апогее, вспышки ненависти в некоторых взглядах, искренние улыбки в других, иллюминация сада, бриллианты на шеях у женщин — одним словом, обыкновенное скопление знаменитостей.

— Что, — поинтересовался Степан, — удалось вытащить зверя из берлоги?

— Ты придаешь моему положению слишком большое значение, моим мнением зверь не интересуется.

— Привет, Степан, — сказал дружелюбный на вид, элегантно одетый мужчина лет сорока и дружески хлопнул его по плечу. — Как тебе это сборище идиотов? Смотри, как облизывается Луэлла! Бьюсь об заклад, Богиня рассказывает ей о своем фальшивом романе со Стоковским.

Я спросил, почему фальшивом.

— Вы с луны свалились? Вы что, не знаете? Она же лесби!

Этот слух пробежал несколько лет назад из-за ее отношений с Мерседес.

— Он многое знает о ней, — произнес Степан и представил меня.

— Проклятие! — воскликнул дружелюбный мужчина. — Я никогда раньше не встречал вас, откуда же я мог знать. Не стоит обижаться, я всего лишь повторил то, что слышал от других... Вы же знаете не хуже меня: этот город прогнил до самого основания!

И произнеся эту величественную сентенцию, он удалился.

— Что за блюститель морали! Необходимо назначить его в службу очистки.

— Именно этим он и занимается, время от времени. Этот очаровательный человек — один из самых верных людей Багси Сигела<sup>24</sup>.

— Не может быть!

— С твоим чувством юмора ты должен оценить это...

— Символично! Мораль оберегает правая рука самого знаменитого гангстера в городе.

— Ну да! Жаль, что Багси не собирается расширять свою империю, а то он навел бы

---

<sup>22</sup> В 1921 г. комику немого кино Фэтти Арбаклу выдвинули обвинение в изнасиловании и убийстве актрисы Вирджинии Раппе; позже он был оправдан.

<sup>23</sup> Кодекс Хейса — этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 г. Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов; был неофициальным, действующим национальным стандартом США.

<sup>24</sup> Багси Сигел (Берджамин Сигельбаум) — известный в 1930–40-х гг. американский гангстер.

порядок и в других местах... Как ты думаешь, Гитлер планирует добраться до нас?

— Вполне возможно... Штернберг, например, считает, что неудавшихся художников стоит опасаться<sup>25</sup>. Вот малыш Бонапарт оскандалил себя написанием бездарного романа, и куда это привело его?

В этот момент со стороны сада послышался шум от какой-то суматохи, и я увидел, что Грета направилась к нам. Собирались выносить свадебный торт.

— Передай мое глубокое почтение, — заявил Степан и удалился после развязного поклона.

— Твой друг меня избегает? Как обычно...

— Да, но он необычен: он не любит звезд.

— Что же он здесь делает?

— Такова его профессия, без них она невозможна.

Она подняла одну бровь.

— Милая профессия, если я правильно поняла.

— Дорогая! — проревел за моей спиной чей-то пронзительный голос.

Я воспользовался движением толпы, чтобы избежать бурного излияния страсти.

Загорелся прожектор, осветив вход в дом, на пороге которого появился свадебный торт — огромный розовый цилиндр, украшенный вычурными завитушками (шедевр, рядом с которым дурной вкус в центральной Европе показался бы строгим классицизмом). Со всех сторон грянула музыка — первые такты Пятой симфонии Бетховена, и каждый раз, когда звучали знаменитые аккорды, удары судьбы в дверь, верхушка торта и две крошечные фигурки жениха и невесты, стоявшие на ней, содрогались под ритм музыки, до тех пор пока на последнем аккорде из полного сливок колодца, как единственная правда, достойная этого фальшивого мира, не возникло обнаженное, неестественно удлиненное, бледное, почти прозрачное тело человека с застывшим лицом, закрытыми глазами и руками, скорее указывающими на половую принадлежность, чем прикрывающими наготу, костлявое тело Миши Ауэра, который был встречен криками присутствующих, полными поддельного ужаса и безудержного веселья. Миша медленно открыл глаза, не спеша склонил голову и так же неторопливо вернулся в глубины кондитерского изделия, в котором наверняка был предусмотрен какой-то выход, поскольку позже — после того как сладкожки и любопытные проделали достаточно заметные отверстия в боках цилиндра — он присоединился к вечеринке, уже одетый.

Ей, видимо, удалось избежать сердечной беседы и всего остального, так как она подошла ко мне через некоторое время и сказала, что уже наигралась и уезжает: «Эрнст ответит меня. Он хочет обсудить по дороге один проект».

Я обратил внимание на Любича, который отвлекся от разговора с кем-то и приветливо махнул мне рукой. Весь Голливуд страдал по этому маленькому человеку с черными прилизанными волосами на узком черепе (Штернберг называл его Эрнст Талантино), все восхищались его «манерой Любича», которая представляла собой не что иное, как пошлое остроумие, свойственное евреям Центральной Европы. Впрочем, о вкусах не спорят...

— Много жалили?

— Вроде бы нет. Или моя шкура огрубела и стала менее восприимчива... До встречи.

Степан подвез меня на рассвете. По дороге он рассказал мне, как «подцепил двух», причем за вторую ему необходимо вручить медаль — так уродлива она была. Потом он поделился со мной мыслями о мужской сексуальности и о том, что стоит лишь открыть в себе силу, заложенную природой, чтобы стать естественным животным. Он где-то прочел историю одного петуха, которого переселили с птичьего двора и который отказывался от еды в одиночестве; когда же его вернули в общество, он насытился, лишь после того как

---

<sup>25</sup> Как известно, Адольф Гитлер обладал способностями в изобразительном искусстве. — Примеч. ред.



удовлетворил свою сексуальную потребность... Если я предпочитаю пример общих знакомых, пожалуйста: Джон Бэрримор, в больнице, в постели, где он умрет через несколько часов, приходит в сознание после четырехдневной комы. У него эрекция, и он видит перед собой расплывчатый силуэт медсестры, потом образ становится более четким, и он различает, как она непоправимо, окончательно и безнадежно безобразна. Но наш великолепный отбрасывает подальше одеяло и произносит: «И все же приди ко мне, дорогая!» Таковы мужчины: их беда и величие — примитивная, слепая потребность в сексе.

— Заметь, я говорю только о мужчинах. Женщины... я ими пользуюсь, но не пытаюсь понять... Никогда не слышал ни одной истории про курицу, подобную той — о петухе.

— А куда ты денешь тех, кто за тобой бегают?

— Это не аргумент. Здесь же Содом и Гоморра.

— И это доказывает, что Содом и Гоморра вполне возможны. А я читал рассказы о женщинах из других стран, непохожие на твой птичий двор. Что, если петух ничего не значит за пределами курятника? Что, если значима лишь территория, а мужчина или женщина только определяют ее границы?

Она не спала, когда я добрался до виллы. Я пересказал ей наш разговор.

— Мне кажется, он прав по поводу мужчин... Что касается женщин... трудно сказать, я плохо их знаю, понимаешь. И я не придаю сексу большого значения... Мне рассказывали — кажется, это было из какого-то романа — историю юной девушки, которая в первый раз получила любовное письмо. Сначала она выучила его наизусть, потом разделась и прижала бумагу к обнаженному телу, а потом съела письмо.

— У меня тоже есть одна история, только немного в другом жанре: однажды вечером Лупе Велес<sup>26</sup>, обезумев от ревности непонятно по какой причине, а возможно, и вовсе без причины, схватила фотографию своего любовника, разбила стекло о голову одного, разорвала фотокарточку, бросила ее на пол, растоптала и долго мочилась на растерзанное изображение.

— Неужели так необходимы подобные безумства?

— Нужно спросить у тех, кто знает.

Она задумалась на мгновение, а потом:

— Когда я вспоминаю жизнь с Морицем, от начала и до конца, мне трудно понять одну вещь... Ты раньше плохо меня знал, я была маленькой дурочкой, и в моей голове бродили туманные мечты, но Мориц не был похож на прекрасного принца. Думаю, я боялась его и одновременно упивалась страхом, который чувствовала. Долгое время меня просто не существовало, он был всем моим миром. Если бы я была верующей, то сказала бы, что он занял для меня место Бога.

— Немного похоже на то, что рассказывал Штернберг о Марлен, хотя необходимо учесть его крайний эгоизм. Он говорил, она жила лишь им и ради него, вела себя так, будто существует только для того, чтобы прислуживать ему. Я рассказывал тебе о теории, которую он из этого вывел, — о пассивности и восприимчивости женской природы, позволяющей творить из себя все что угодно ради собственного удовольствия... И, возможно, такой должна быть актриса: ничто, способное стать кем угодно.

— В любом случае это очень удобно, успокоительно.

— А как насчет твоей идиллии с Джоном Гилбертом в ту пору?

— Гилберт профессиональный оболстатель. Его особенность. Он как будто по-другому не мог, но особого значения этому не придавал.

— Стиллер был таким же?

— Мориц впадал в бешеную ярость. Джон способен был на такое же. Я переходила от одного к другому. Непристойно, конечно, но в этом был смысл: я нуждалась в обоих.

Я объяснил ей, что все, напротив, в рамках классического жанра: отец и любовник.

---

<sup>26</sup> Лупе Велес (1908–1944) — американская актриса мексиканского происхождения.

Отец не может вечно быть любовником, в один прекрасный день тяжесть морщин становится невыносимой. Древняя Греция нашла выход: на любовника на время надевали маску отца, после чего все возвращалось на круги своя; в театре тогда играли только юноши, потому что девушки в ту пору... Девушка не может без формы, она призывает ее. Да знаем ли мы, каков человек? Помнишь, в фильме «Какой ты меня желаешь»...

— Помню только, что Штрогейм<sup>27</sup> был невыносим.

— Так вот, Пиранделло продвигает некую теорию о преобразовании «я» в отдельную личность. Марионетки покидают коробочку, повинувшись лишь случайности. Но кто они, эти никому не нужные марионетки, и где сама коробочка? Нет, я все-таки считаю, что каждая встреча, каждая настоящая встреча создает новое существо, которое никогда не существовало бы, если бы встречи не произошло. Та, кого любил Гилберт, только Гилберт и может породить, и Стиллер, не знавший ее, не мог бы с ней встретиться. Единство, тождество — все это обман, и здесь Пиранделло прав: мы множественны. А обманывает нас и все усложняет то, что каждому существующему осколку дано тело для жизни.

Разговор произошел через некоторое время после ее романа со Стоковским. Эти подобные нам образы не так уж неисчислимы и не погибают сразу же, когда обрывается встреча, породившая их. Кажется, они просто дремлют в ожидании поцелуя, который, возможно, их разбудит.

## 6

Все десять лет я почти не появлялся на съемках, что очень удивляло ее. «Там много влиятельных людей!» Но Штернберг одобрял мое поведение, он считал, что гурману не место на кухне.

Моя уклончивость превратилась в уверенность в тот день, когда, поддавшись ее настойчивости, я поехал с ней на съемки «Узорного покрова». Изнывая от жары из-за прожекторов, среди сварливого, шумного, тоскливого копошения, в невыносимо долгие минуты ожидания во время всех этих установок и наладок, когда она прикрывала лицо изящными накидками, изображая медсестру во время эпидемии холеры, сидела у изголовья умирающего мужа (умирающего не от холеры, а от удара кинжалом) или отказывалась от любви молодого и красивого атташе посольства, осознавая свой долг перед умершим (крайне трогательный момент, толпы будут рыдать), я все время слышал ее буднично-спрашивающий, не попали ли в кадр ее ноги. Дело в том, что каждый день съемок на протяжении всей карьеры она проводила в старых огромных тапках, своих верных спутниках, независимо от того, играла она шведскую королеву, неверную жену или гетеру с пламенным сердцем.

Чтобы добраться до студий, нужно было пересечь сначала засаженные зеленью площади (деревья сажали одновременно со строительством домиков для актеров), затем пройти через комплекс технического и финансового обслуживания, состоявший из маленьких неудобных кабинетов, где трудились сценаристы, и только после этого перед вами открывалось огромное нелепое пространство, предназначенное для съемок фильма. Среди проходивших этой дорогой есть много знаменитых людей, начиная с Дэшила Хэммета<sup>28</sup>, Скотта Фицджеральда и заканчивая Фолкнером. Не столько из любви к кино, не по призванию, а лишь для того чтобы выжить, все они унижались, работая жалкими поденщиками. С девяти утра до шести вечера, день за днем, нужно было выдавать обещанные сценарии непонятно какого качества, и лишь те, у кого хватало сил, честолюбия

---

<sup>27</sup> Эрх фон Штрогейм (1885–1957) — американский кинорежиссер, актер, сценарист.

<sup>28</sup> Дэшил Хэммет (1894–1961) — американский писатель, автор детективных романов, повестей и рассказов.

или лукавства, не позволяли трепать себя. Скотт не принадлежал к числу сильных. Жалкая копия самого себя, скорее покачивающийся, чем передвигающийся, с отвлеченным взглядом и вечной бутылкой колы в руках (он беспрерывно потреблял этот напиток всякий раз, когда переставал пить), неудержимо терзаемый кашлем — «Метро-Голдвин-Майер» наняла его, чтобы написать сценарий по роману Ремарка «Три товарища», — он видел, как его работу посчитали сырым материалом и передали для доработки Манкевичу<sup>29</sup>. Скотт был сдвинут с рельсов — обычная практика. Все удивлялись, слушая его жалобы: «Они звали меня из-за моей индивидуальности, а теперь, когда я здесь, требуют, чтобы я старался скрыть ее».

Штернберг смеялся над ним: «Он — как большинство литераторов, которые дальше своего пупа ничего не видят. Я знал только Джорджа Бернарда Шоу, и он был в курсе системы. Знаешь, что тот заявил Сэмюэлю Голдвину? Вот что: „Разница между вами и мной, мистер Голдвин, состоит в том, что вы говорите об искусстве, а я думаю лишь о деньгах...“ Представь себе огромного Сэмюэля, особенно смеющегося, в его безукоризненном костюме, которому он ни за что в жизни не позволил бы помяться. Представь, как он отвечает старику Шоу своим высоким женским голосом: „Вы юморист, мистер Шоу, настоящий юморист!“»

— Мне казалось, ты хотел заниматься искусством.

— Естественно, но нельзя в этом признаваться. Вот чего никак не поймет Штрогейм, несмотря на все свои неурядицы.

Шутил ли он? Я часто задавал себе этот вопрос, думая о тех, кто окружал меня. Джон Бэрримор утверждал, что ни одно из накопленных им богатств не может быть использовано индустрией, которая работает соответственно неприемлемым для него нормам; он говорил: «Неужели вы хотите, чтобы я загромождал память всей этой чепухой?» — и чтобы подчеркнуть свое презрение, требовал от ассистентов держать перед ним во время съемок дощечки, где большими буквами был написан текст, который он не хотел учить. Он притворялся, что не сможет произнести без поддержки даже самые простые реплики вроде слова «да»; он считал себя, и небезосновательно, слишком великим, чтобы прилагать какие-либо усилия. Он был настолько знаменит, что ему сходили с рук все его капризы. Прочим же хватало ума топить все вопросы в алкоголе. Они жаловались: «Выжимают как лимон», — но делали все, что от них требовали. В большинстве случаев.

Штернберг, от которого ничего нельзя было скрыть, узнал на следующий день, что я приходил на студию и снимался в эпизоде — переходил улицу.

— Ты в результате тоже здесь, старый скептик!

— Не по своей воле! Меня попросили перейти дорогу, я и перешел. Потом меня вновь попросили перейти, и я вновь перешел. И так четыре раза. Потом мне сказали, что эпизод отснят, и я сел, не в силах избавиться от впечатления, будто ровным счетом ничего не сделал.

— Значит, видимо, тебе удалось неплохо сыграть.

Он часто и решительно заявлял: «Когда актер считает, что он ничего не сделал, я удовлетворен. Если же он думает, что выложился до конца, отснятую пленку можно выбрасывать в корзину». И добавлял: «Но ты никогда не станешь актером: ты переходишь через дорогу, не думая о том, как бы выгоднее преподнести свой красивый профиль... Понимаешь, важно все, что вне игры актера, а это включает в себя: великие планы на будущее, равное количество диалогов по сравнению с партнером, достаточно удобное жилище, достаточно вкусное питание, автомобиль, который привозит на работу и увозит с нее, а также высокие кассовые сборы. Последнее, чем исчерпывается эта профессия, — всеобщее внимание каждую минуту».

---

<sup>29</sup> Джозеф Лео Манкевич (1909–1993) — голливудский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

Не стоит удивляться тому, что деньги были для нее так значимы; трудно позабыть страхи детства: «Отец не мог прокормить нас, а потом умер. Я была самой младшей, но брат и сестра воспринимали меня как старшую. В результате теперь мне кажется, что я никогда не была ребенком».

Она прослыла скупой из-за постоянной воздержанности во всем. В расцвете славы она приезжала на студию на старом, запыленном, работающем с перебоями бьюике. К тому же подобную репутацию еще больше подтверждала мелочность, с которой Грета обсуждала условия контрактов, спорила с могущественным Луисом Б. Майером (он так и не смог простить ей этого), и решилась как-то (в 1928 году!) на дерзость, которую стоило назвать забастовкой, хотя никто не осмеливался так говорить: «Метро-Голдвин-Майер» отказалась повысить ей гонорар, и она отправилась в Швецию, откуда не возвращалась до тех пор, пока ее требования не были удовлетворены. В следующем году она получала пять тысяч долларов в неделю. Появление звукового кино, уничтожившего многих (в том числе и Гилберта, который с большим трудом восстановился позже), сыграло ей на руку: ее голос соответствовал облику. Крах 1929 года<sup>30</sup> не пощадил Грету — ее банк пошел ко дну. Но уже через три года на ее счету лежало тридцать две тысячи долларов, и вскоре за каждый фильм она стала получать двести семьдесят тысяч. С этого момента деньги уже ничего не значили.

Нельзя сказать, что Луис Б. Майер был чудотворцем или человеколюбцем. Сэмюэль Голдвин вообще наводил ужас. Трудно было найти в те времена продюсера, которого волновало бы искусство, за исключением, пожалуй, Карла Лемле из компании «Юниверсал», да и то потому, что он сделал ставку на рентабельность в эту нишу для всех эпоху. Они умели ловко подавлять любое сопротивление: сломали Штрогейма, так ожесточенно воспевавшего «аристократическое удовольствие быть недовольным», что его стали ловить на слове. Унижали таких звезд, как Гейбл и Флинн, предлагая настолько нелепые сценарии, что те вынуждены были отказываться, — предлог, чтобы вышвырнуть их за дверь. Старлетки использовались как удобное сырье, их «одалживали» то на одной, то на другой студии, и права голоса они не имели.

Только против нее они ничего не могли сделать; несомненно, благосклонность зрителей защищала ее: каждый, даже самый плохой (не приносящий прибыли) фильм с ее участием оборачивался ее личным успехом. Однако дело не только в благосклонности. Думаю, зрители так и не сумели понять этот феномен: по джунглям, где каждый борется за выживание и рвется к вершине, ленивой походкой, с отстраненным видом прошелся странный зверь.

Она работала с отдачей, но в определенное время всегда возвращалась домой, и никакая необходимость, срочность, никакие угрозы и уговоры на нее не действовали: ни одного часа, ни одного дня в жизни она не работала больше положенного. Когда студия отказывалась повышать ей гонорар, она уезжала и не появлялась, пока не примут ее условия. Случайно попав в кино, она готова была в любую минуту оставить его. Подобное поведение бросало вызов обыденности; стоит прибавить к этому еще и странность (с точки зрения жителей этого города) ее личной жизни. Неудивительно, что она внушала некоторый трепет. Однако ошибочно видеть холодный расчет там, где есть лишь равнодушие. В конечном счете Голливуд выдумал легенду: шведский сфинкс. И она превратилась в удивительную загадку. Каждый говорил: «Рядом с ней ни в чем нельзя быть уверенным». Возможно, уход Стиллера — ее вина, может быть, она и вправду была тем «кораблем без якоря», о котором говорила после похорон, и поэтому позволила увлечь себя.

---

<sup>30</sup> Имеется в виду биржевой крах 24 октября 1929 года, с которого началась Великая депрессия в Америке.

Режиссерство сродни созиданию: изобретение мира — от луж до самых звезд. Возомнить себя Богом — искушение, которому часто поддаются режиссеры. Они творят самих себя в основном из-за того, что пока им недоступно созидание вселенной. Так было у Стиллера. Действительно, какой путь пришлось ему пройти от маленького Мойше Шацмана, поспешно рожденного в 1883 году на одной из перенаселенных улиц хельсинкского гетто женщиной со слабой психикой, которая покончила с собой четыре года спустя (через год то же самое сделал и его отец), до великого Морица Стиллера, почти разорившего своих продюсеров в 1923 году, когда он снял «Сагу о Йесте Берлинге», и полностью разорившего их через два года — во время подготовок к съемкам «Одалиски», так никогда и не вышедшей в свет! Как крепки были зубы и силен аппетит у сироты, подобранного из жалости, студента старших классов раввинского училища, затейника пирушек и попоек, умевшего глотать обиды и водку, когда он влюбился в знаменитую певицу Анну Петтерсон-Морри и отыскал ее в Швеции, где она ввела его в мир кинематографа. И Стиллер начал ваять фильм за фильмом, одерживать победу за победой, ловкий оболъститель не без цинизма, оригинал во вкусах и желаниях, мелочно и настырно заботящийся обо всем сразу, обожаемый, ненавидимый, унижаемый, терпящий поражение здесь, но добивающийся необыкновенного триумфа в Германии своей «Сагой»... В Швеции он встречает ее и увозит с собой, погружает в роскошную мишуру и декорации, собственно говоря, выдумывает ее и вдруг, оступившись, уступает свое открытие Пабсту<sup>31</sup> (так продают на рынке свою самую плодovitую телку), который снимает ее в «Безрадостном переулке».

Этого великолепного деспота и его послушное творение Майер пригласил в Америку, когда был проездом в Европе. Европу Стиллер оставил без сожаления: старый мир был слишком мал для его масштабов, перед ним открывалась новая жизнь с достойными соперниками и публикой, которую предстояло покорить. Приключение оказалось не столь победоносным, и солнце, встретившее их, светило не для него.

Сначала ему предстояло стать достойным Голливуда, выдержав долгое ожидание, особенно невыносимое для того, кто считает, что его ждут с нетерпением. Первое предложение — фильм «Поток» по роману Бласко Ибаньеса — было адресовано ей; Мориц ждал, что ему поручат постановку, но ее доверили Монте Беллу. Они не знали, чего ждать от Стиллера; Монте Белл не сделал из фильма ничего неожиданного, но картина очаровала зрителя и продвинула Грету вперед. Талберг<sup>32</sup> все же предложил ему поставить «Соблазнительницу». Мориц, видимо, посчитал, что он по-прежнему в Европе и вправе вести себя так, как ему заблагорассудится. Через несколько часов работы он восстановил против себя всю съемочную группу, и спустя десять дней, не колеблясь ни минуты, Талберг заменил его на Фреда Нибло. Стиллеру оставалось жить еще два года, но его настоящий конец наступил именно в эту минуту. Его гордость была уязвлена, здоровье подтачивала смертельная болезнь. Он безрадостно волочил исхудавшее тело по съемочной площадке фильма «Отель „Империял“», почти не обращая внимания на Полу Негри<sup>33</sup>. Провал картины был очевиден, он был к ней совершенно равнодушен. Острый приступ ревматизма отстранил

---

<sup>31</sup> Георг Вильгельм Пабст (1885–1967) — австрийский кинорежиссер, внесший значительный вклад в киноискусство Германии.

<sup>32</sup> Ирвин Талберг (1899–1936) — американский продюсер, руководитель производства студии «Метро-Голдвин-Майер».

<sup>33</sup> Пола Негри (1897–1987) — прославленная актриса эпохи немого кино, создательница классического образа женщины-вамп.

его от мира и не повлиял только на вспышки ревности из-за романа, завязавшегося между его протеже и Джоном Гилбертом. Вскоре он уже не представлял собой ничего или, возможно, стал тем, кем был на самом деле, — озлобленным евреем, жаждущим взять реванш, грубым и не особенно щепетильным, великолепно умеющим своим внешним видом пускать пыль в глаза и обнаружившим в конце концов, что его дом стоит на песке.

Он умер в 1928 году. Не много людей пришли на его похороны.

## 9

Принято говорить: Голливуд. Но ошибочно не использовать множественное число, упоминая об этом городе. Невидимые границы, не имеющие никакого отношения к географическим, делят его на множество частей. Определяющими в этом делении оказываются: достаток, должность, раса, хитроумие, известность. У черных здесь нет никаких прав, за исключением права работать прислугой, правда, они допускаются в «Ампекс» — кабак, где некоторые из их братьев по крови, самые знаменитые, играют в оркестре. В большую часть клубов невозможно попасть, они закрыты даже для евреев, что парадоксально для города, где евреи правят на каждой студии. В шесть огромных усадеб в верхней части Саммит-Драйв также никто не имеет доступа.

Скрытые в глубине просторных автомобилей, звезды следуют каждая по своей траектории и собираются вместе лишь небольшими группками, чтобы поиграть в теннис (у многих имеются личные корты), поплавать (бассейнов в городе больше, чем жителей), выпить или заняться любовью. Одиночество, в котором заперла себя Грета, удивляло лишь потому, что оно было чуть более выраженным, чем у остальных жителей города. Чарли Чаплин, например, редко выходил из дому и мало кого принимал — только близких друзей или деловых партнеров, перед которыми непрерывно разглагольствовал. «Остерегайтесь тех, кто не умеет молчать, — предупреждал Штернберг. — Впрочем, с приходом звука в кино мистер Чаплин утратил весь свой талант: голос, которым говорил изображаемый им клоун, совершенно не сочетался с его образом. Я предлагал ему выразиться более оригинально: с помощью отдельных звуков или урчания живота, но этот человек слышит только себя. Как и я».

Тем не менее, в некоторых случаях (свадьба, премьера, вечеринка) можно стать свидетелем большого сборища, когда город дает лицемерное представление сам себе, изображая всеобщее единодушие: влажные поцелуи, рассеянные комплименты... Подобные встречи служат основным материалом для хроник и составляют счастье зевак, именно такие сборища изображают перед всем миром несуществующий город, скрывая пошлую реальность злых сплетен и разгульных вечеринок, реальность, в которой лишь некоторые на короткое время могут обрести собственное лицо, ничем не запачканное. Прогнивший город, как сказал дружелюбный мужчина средних лет. Конечно, но в нем много работали, и даже с энтузиазмом и простодушием, хотя на обратной стороне карт часто скрывалось неприглядное.

Так проходили дни, которые обращались в годы, в миф, по выражению Мальро, породивший обман: «Марлен не актриса, как, например, Сара Бернар, она лишь миф». Известно, что настоящая Марлен больше всего любила надеть передник и потушить мясо так, как умела только она.

Однажды братья Уорнер — их было трое, — охваченные единым безумием, решили экранизировать «Сон в летнюю ночь». Невозможно было противостоять желанию братьев, и фильм был снят. На премьере раздавалась шикарная программка: под заголовком на обложке — четыре портрета: братьев Уорнер и Шекспира. Можно было смеяться бесконечно, они бы не поняли, насколько великолепно их глупость, что она ставит с ног на голову мировые ценности. Аристотель настаивал, что театр, демонстрируя страсти, призван излечить нас от них, но способен ли он очищать? Кино не очищает, оно подтверждает наши фантазии,

множит искусственное правдоподобие, чтобы окончательно оторвать нас от действительности. Город и кино смешиваются в притворном опьянении, но что стало бы с человеком, если бы он не умел обманываться?

10

Незнакомый голос задыхается на другом конце провода: «Нужно срочно приехать к Степану!» И отбой.

Я не спал, всю ночь я бодрствовал у радио, слушал, что происходит в Европе. Гитлер сделал новый ход и вторгся в Чехословакию.

Что могло понадобиться Степану и почему он не позвонил сам? Наверняка слишком пьян. Мы часто спорили в последнее время: «Я помог тебе утопить воспоминания об Австрии, настанет и твоя очередь. Ты должен будешь помочь мне, ведь людоед ненасытен». И он оказался прав.

Дверь мне открыл уже знакомый дружелюбный мужчина; никак не ожидал, что увижу его плачущим.

— Я ничего не трогал, — сказал он, как в дешевом детективе.

Степан лежал на кровати, обнаженный, с искаженным от боли лицом; один его глаз смотрел в потолок, а скривившийся рот открывал зубы.

Мужчина подтолкнул меня к кровати, к этому оскалу смерти:

— Чувствуете?

Сладковатый запах, немного отдающий горьким апельсином.

— Цианид... Какая мерзость!

Слезы все текли по его лицу. Он распахнул платяной шкаф, выдвинул ящики комода.

— Посмотрите! Ничего! Пусто! Совершенно пусто! Но что он сделал? И зачем? Исчезли все вещи, бумаги! И все его книги! У него было столько книг! Только для вас он оставил кое-что на кухне. Я потому вам и позвонил.

Мы прошли на кухню. Посередине стола стояла суповая миска на три четверти заполненная пеплом, а рядом с ней конверт с моим именем. Тут я начал кое-что понимать. В конверте было лишь одно слово: «Стерто».

Мужчина тоже прочел и остолбенел:

— Что это значит?

Как я мог ему объяснить? Я погрузил руку в пепел. Степан разрешил противоречие, его «Трактат ни о чем» нашел свою логическую и окончательную форму.

Мужчина рассказывал:

— Я должен был заехать за ним. Багси попросил нас разобраться в одном деле с мужем, угрожавшим устроить скандал. Но вряд ли он из-за этого... Мы уже ездили с ним вдвоем на такие задания...

Обратная сторона жизни Степана! Он ни разу не рассказывал мне об этом, справедливо полагая, что меня это не касается. Я задумался. Дружелюбный мужчина продолжал:

— Вы знаете, он очень любил вас. Наверное, потому, что вы из тех же мест, что и он. Хотя вам наверняка это известно... ведь он заботился о вашей подруге...

— Заботился?

— Как, он вам не говорил? Не говорил, какие сцены устраивал? Он орал: «Не смейте приставать к Пузатому!» Простите, он так вас называл. Он так и говорил Багси: «Не смей трогать подругу Пузатого!» Поверьте, надо обладать поразительной смелостью, чтобы так говорить с Багси... Багси ворчал, но и для него дружба — святое.

Багси Сигел помимо основной своей деятельности, не особенно афишируемой, но вполне известной, занимался еще и тем, что тайком шантажировал большую часть голливудских знаменитостей. Ему, члену не знаю какого актерского профсоюза, достаточно было мигнуть, чтобы организовать забастовку статистов и сорвать съемки. И

наоборот, при регулярной выплате определенного налога, величину которого он сам же и устанавливал (обаятельный человек, вхожий в любой дом, обладающий скромной элегантностью, обворожительной улыбкой и всегда чистыми руками — как ему удавалось затирать великолепными духами свой истинный запах?), вам обеспечивалось спокойствие и исключались любые неожиданности (его грубость всегда была приглушенной, за исключением случаев, когда требовалось показать зубы). Кинозвезды и продюсеры находились в разных категориях, у каждого был свой счет. Полиция же закрывала на все глаза и распаивала пошире карманы, так что Багси Сигел на светских приемах мог беспрепятственно похлопывать по плечу своих жертв.

— Как могло случиться, что вы ничего не знали? Вас разве не удивляло, что к ней не заходят от Багси?

Я не особенно вмешивался в ее дела, к тому же не был в курсе того, как работает система. Все это было обнародовано намного позже, когда у многих развязались языки после насильственной смерти Сигела.

— Багси уважал Степана, потому что Степан был настоящим мужчиной!

Что это был за мужчина, которого уважал Багси? Мне совсем не хотелось уточнять. У них был свой Степан, а у меня — мой.

Так его в гроб и положили, голым и усмевающимся, что чуть не вызвало скандал в зеленом раю (поэтическое название крематория), и без дружелюбного мужчины я бы не смог все уладить. После того как и от Степана остался лишь пепел, я смешал его с тем пеплом, который был в суповой тарелке, и одной ночью развеял по ветру над песками пустыни. Мне кажется, таким было бы его последнее желание, и я довел до конца (как хотел бы он) это уничтожение, жажда которого пришла к нему издалека, из темноты Европы, где сапоги тирана уничтожали землю, по которой он так сильно тосковал (о чем я не догадывался). Хотя рождение в той или иной стране — лишь случайность, и мне эта гипотеза не кажется абсурдной.

Как бы то ни было, эта смерть — ничтожная трагедия, с точки зрения целой эпохи. Маленькие исчезновения стран или людей предвосхищают пылающую агонию старой и уже использованной планеты, которая швыряет сквозь равнодушную и бездушную вечность очередную горстку пепла (средоточие жизни, слез и славы), какой-то момент существовавшую на земле.

## 11

«Швеция, — сказал мне однажды Штернберг, — это огромная плоская равнина, дремлющая под снегом. Высокие светловолосые и рыжие девицы демонстрируют свои ляжки сквозь разрезы в шубах, в которые они укутаны, и всю жизнь мечтают быть соблазненными латиноамериканцем. Однако ты не обладаешь ни бархатным взглядом, ни плоским животом тореадора... И я вообще не помню, чтобы ты когда-нибудь рассказывал о себе».

Это правда. Я считаю, что рассказ интересен, только если он заставляет смеяться, плакать или задыхаться от нетерпения. Если же я расскажу о себе, это будут лишь образы прошлого, которые остались в другом времени, не в том, что показывают настенные часы. У них свой порядок, свой ритм, требующий уважения, и я не последователь путаной философии Пруста об утраченном и обретенном времени. Я восхищаюсь Прустом, но что он делал на лекциях Бергсона<sup>34</sup>? Мода, понимаю. Перед ними был такой философ! Когда его маленькая изящная рука, как птичка, пристраивалась на небольшой помост, он осторожно

---

<sup>34</sup> Анри Бергсон (1859–1941) — один из крупнейших философов XX в., представитель интуитивизма и философии жизни.



опускал кусочек сахара в стоявший перед ним стакан воды, и все, и Марсель вместе со всеми, затаив дыхание, ждал, когда он растворится. Чудо: Бергсон материализовывал время и дематериализовывал материю! И ни минуты отдыха! Мэтр! Пруст покидал аудиторию, все еще убаюканный обаянием философа, и отправлялся крутить столы и фотографировать эктоплазмы. Одним словом, он был истинно открыт — в отличие от этих узких рационалистов, обитателей Сорбонны. Дамы приходили в восторг, и он вывел свою философию в пределы Сен-Жерменского предместья.

Рассказать о себе... Но Штернберг очень настойчив. Что ж: я родился в Вене 18 июля 1891 года, в той стране, которая называлась еще Австро-Венгрией. Я единственный сын. Был мобилизован в австрийскую армию в августе 1914 года и отправлен на сербский фронт. Отпущен в увольнение по причине серьезного ранения в 1915-м, после чего приехал в Швецию, чтобы посещать в Упсале лекции Ельмслева по лингвистике. Там я в первый раз столкнулся с Гретой Г., когда она сбежала вместе с одной из подруг со скучных уроков. Ей было четырнадцать, мне — двадцать восемь. В 1921–1922 годах я заметил ее в небольшом датском фильме, в котором она неумело изображала нечто вроде *bathing beauty*<sup>35</sup>, я нанес ей короткий визит, и мы перекинулись парой слов. В 1923 году я уехал из Европы в США. Я присутствовал при ее прибытии в Нью-Йорк в 1925-м, вернее, при прибытии Морица Стиллера, которого она сопровождала. Стиллер, которого она любила, умер в 1928-м. Гилберт, которого она тоже любила, — в 1936-м. Наша настоящая встреча состоялась в 1929-м, незадолго до того как она переехала на виллу. Я прожил с ней десять лет до этого вечера 1939 года, когда она решила начать смеяться.

Штернберг возмутился:

— Что я, по-твоему, могу с этим сделать? Одни факты!

Меня не удивила подобная реакция: Штернберг был маньяком детали, местного колорита; он готов был ждать часами, чтобы добиться красивого освещения.

— Ладно. Представим живописную картинку! Место действия: Голливуд, сентябрь 1929 года. Биржевой крах поразил страну. Общий план на небоскребы Бруклина, обесценившиеся доллары сыплются из окон, как пошлые страницы телефонного справочника. Крупный план на искаженное гримасой лицо, револьвер приставлен к виску, но выстрела мы не слышим, потому что в тот момент кинематограф еще не перешел на звук...

Штернберг застонал:

— Сжался! Я уже видел этот фильм!

— Да, но ты не знаешь, что будет дальше. Тот же день, небольшой прием в Голливуде. Сначала средний план, потом крупным планом лицо Марлен...

— Ну вот, ты совсем сошел с ума! Если в фильме Марлен, то наша героиня не появится.

— Хорошо, ты прав. Правду ты узнаешь, но в ней нет ничего романтического: наша встреча была более случайной — на вечере у одной знакомой, которая сказала мне ликующим и полным таинственности голосом: «Сейчас увидите!» Меня провели сквозь первую комнату, в которой пили и шушукались, затем мы вошли во вторую, и я заметил ее. Она сидела, съжившись, в низком кресле, лицо почти полностью закрыто волосами, ее окружали люди в таком глубоком и абсурдном молчании, что я не удержался и громко рассмеялся. Молящиеся обратили на меня возмущенные и полные проклятия взоры. Она подняла голову и сказала по-шведски: «Это невозможно!» Я ответил, что возможно, и тут же покинул вечеринку.

— Неплохая сцена и концовка вполне удачна, но не хватает диалога.

— Вот тебе диалог: я позвонил ей на следующий день...

— Неправдоподобно! Она скрывала свой номер телефона!

---

35 Купальщица (англ.).

— Протест отклонен, Ваша Честь: я получил ее номер от Степана, который, не знаю каким образом, достал его. Наша настоящая встреча произошла через три дня.

— Наконец-то! Но один совет: если ты начнешь сейчас рассказывать, постарайся вырезать вводные эпизоды, а то излишне затягивается ожидание главного события.

— Хочешь сразу о главном? Она жила в гостинице под именем Гарриет Браун. Крошечная комнатка, заставленная чемоданами, окна выходили в темный двор... Я сразу же принес извинения за недавнюю выходку, но о чем мы могли тогда говорить? Вспомнили Упсалу, вспомнили Швецию...

— Если ты решишь когда-нибудь экранизировать эту историю, попроси кого-нибудь другого написать сценарий. Она стоит перед тобой, говорит с тобой — полмира мечтает об этом, а ты упускаешь возможность расспросить ее о тайнах ее жизни! Ладно! Что дальше?

— Были и другие встречи, другие беседы. Когда я говорю «беседы», я имею в виду долгое молчание, изредка прерываемое воспоминаниями — так взлетают и лопаются пузыри.

— Литература!

— Она жаловалась на неудобство своей комнаты — не из-за пространства, а из-за невозможности отгородиться в ней от всего мира. Она мечтала о доме за высокой стеной, где-нибудь на окраине города. Кто-то рассказал мне, что продается вилла. Мы поехали смотреть ее, и она сказала, что вилла слишком велика. Через некоторое время она объявила мне, что купила виллу и уже переехала. Как-то вечером я пришел к ней в гости, она предложила мне остаться, и на следующий день я уже жил там. Сложно найти объяснение: одиночество было ее призванием, как и моим, и я стал ее спутником на этом пути.

— Ты что, издеваешься надо мной?!

— Джозеф, не уподобляйся тем, кто жаждет все обосновать! Признай возможность существования и тех, кто избегает слов.

— Легко сказать. Однако фильм получается слишком грустным: все основное происходит за кадром.

— Меня бы это устроило, особенно здесь, где из всего делается представление... Действительно, ни ты, ни кто-либо другой не сможет снять это на пленку. Забавно, особенно в стране, где жизнь выставляется напоказ.

— В отличие от тебя, выставляющего напоказ пустоту!

— Согласен. А почему, как ты думаешь, Джозеф, я так к ней привязан? Некоторые восхваляют мою мудрость, а она на самом деле обыкновенное убожество.

— Вперед, вперед, упрямый иностранец... Знаю я этот тип исповеди: мы ведь славяне, в каждом из нас спит Раскольников...

— Раскольников хотя бы убил старуху... А я? Знал бы ты, как я завидую твоей мании величия и твоим грехам, старый кукловод.

## 12

Штернберг не ошибался: я действительно лукавил. Но, если можно так сказать, лукавил чистосердечно, потому что моя встреча с ней, которую я представил как нечто очевидное, как соединение двух одиночеств, не была ни необходимой, ни неизбежной.

Вспоминается один разговор, когда, примерив на себя наряд Сократа (мой способ задавать вопросы был всегда игровым), я заставил ее немного раскрыться, выйти за пределы банальных, подготовленных для журнальных интервью фраз, но наш разговор быстро закончился. Не помню, что принудило нас обратиться к чтению хроники Луэллы (кажется, она не хотела читать, и я доставил себе сомнительное удовольствие процитировать несколько параграфов вслух), которая, как обычно, ядовито смаковала очередную слащавую историю... Она неожиданно перебила меня:

— Хватит о любви! Есть на свете вещи и поважнее!

— Да? Что же?

— Туше! Не спорь, у тебя глаза засверкали, как только я это сказала.

— Ничего подобного!

— Ну, признайся, удастся ли тебе забыть, что я актриса? Несмотря на все твои усилия казаться невозмутимым, по твоему лицу можно читать, как по книге.

— Теперь моя очередь сказать: «Туше!» Штернберг уже объяснил мне, что из меня вышел бы отвратительный актер. Но, уверяю тебя, сейчас...

— Ты совсем себя не знаешь!

Это был один из тех редких моментов, когда она меня удивила: она пыталась составить приличествующий мне портрет, который не должен был, в принципе, поразить меня, поскольку, говоря обо мне, она описывала и себя. Я не верю в миф Платона об андрогинах, и мне чужд смехотворный поиск «братской души», которая должна дополнить мою собственную. Каждый из нас единственен в своем роде, и настоящее расставание, физически ощутимое как конец, происходит только во время рождения, расставания с матерью; нас жестоко выбрасывает в равнодушный мир, и мы открываем в нем непоправимость одиночества, которое невозможно преодолеть. Но иногда, случается (за редким исключением), мы способны ощутить в другом человеке эту черную дыру, бесконечно поглощающую лица и голоса тех, кто населяет мир.

Она продолжала:

— Твоя игра — а играют все — состоит в том, что ты удерживаешь других на расстоянии. Мерседес говорила: «Я обожаю его, но от него холодно». Они пугают тебя, и ты защищаешься. А так как приходится жить среди них, ты прячешься за внешностью мерзкого «курносика». — Она немного помолчала, потом добавила: — Ты не задумывался, откуда в тебе эта страсть к фотографии? Твоя единственная страсть.

— Ты стучишься в открытую дверь!

— Ну конечно! Ты достаточно умен, или хитер, или неискренен, чтобы оставить эту дверь открытой, вынудить нас ворваться туда и пройти мимо главного.

— Чего же?

— самого простого; ты никого не любишь... Любил ли ты когда-нибудь?

— Сколько себя помню, никогда.

— Ну вот! И в первую очередь, самого себя. Ты промахнулся с самого начала.

— А разве не все мы промахнулись?

— Не знаю. Мне не хватает интеллекта судить об этом. Видимо, не все должны это понимать. — И она сделала вывод — я редко слышал более точную формулировку: — По крайней мере, мы с тобой знаем, кто мы такие: калеки жизни.

## Мир

### 1

В те годы, еще очень далекие от середины века, загипнотизированный мир становился свидетелем бредовых выходов сумасшедшего. Именно в Вене, наблюдая с «монументальной беспристрастностью и ледяным сердцем» за тем, что он называл предсмертными судорогами Империи, в этом «отвратительном скоплении рас и национальностей», где, по его мнению, рабочие социал-демократы топтали ногами свою родину и поджигали знамя во имя межклассовой розни, в его голове сложилась эта смесь из общих мест и примитивных теорий, которая вскоре подожгла Европу и весь мир.

Адольф Гитлер по возрасту старше меня всего лишь года на два, и хотя воспитание и образование мы получили разное, несколько лет его юности пересекаются с моими: в одни и те же годы мы бегали по одним и тем же улицам, грезили на террасах одних и тех же кафе и, когда наступал вечер и поднимался восточный ветер, вдыхали легкий аромат каштанов на

берегах неспешного Дуная.

Понимаю, что подобное сопоставление может показаться странным, но именно этот образ нищего молодого человека, пробегающего по улицам (он часто голоден, его рисунки продаются плохо, а талант не особенно велик, о чем свидетельствуют несколько найденных впоследствии акварелей), отбрасывает тень кровавого тирана. Итак, Адольф Гитлер всего лишь одинокий паренек, полный неясных мечтаний, которого неотступно преследует лицо отца. Не все так просто с отцом Гитлера: образцовый чиновник, суровый воспитатель; сын так и не смог продемонстрировать ему свой Abitur<sup>36</sup>, сын, который никогда не удовольствовался бы удобными тапочками и административной работой.

Но что же движет историей, если не слепой груз обстоятельств? Говорят о воле, о призвании... Желал ли угрюмый юноша из Упсалы стать проклятием века, возможно ли найти в его маршруте решающий эпизод, после которого его жизнь стала осмысленной, или, скорее, все произошло так, как назвал это Штернберг, — за кадром? Смог бы он прийти к тому же другим путем? Биографы лгут, когда называют объяснимым и понятным то, о чем толком и рассказать невозможно. Они рассуждают так, будто все уже записано в Великой Книге; восприняв жизнь через обратный ход времени, они, отталкиваясь от конца, выстраивают четкое начало, а вместе с ним и подробности пути — таким образом возникает жесткая и необходимая последовательность. Великолепный софизм! Обычная жизнь, день за днем, не имеет ничего общего с непрерывностью струящегося потока, и потому невозможно переложить ее на бумагу и составить хронику без пробелов и пропусков; я этого и не пытаюсь сделать, я могу показать лишь обрывки.

Итак, в те годы мир собиралось поглотить пожарище, из которого впоследствии он выйдет уже с другим лицом. Некоторые звезды способны излучать прекрасное сияние лишь в глубокой старости — так и Европа, чью бескровную дряблую плоть в дырявом рубище вот-вот должны были охватить яростные судороги. С древних времен греческая трагедия учит нас: больше всего ненавидят родные. С 1870 года по 1945-й продавцам пушек хватало работы, и трава густо росла на полях сражений, так часто удобряемых. Первый конфликт завязался на фоне изящества и кружев, второй предварял венский романс в стиле Штрауса младшего (ах, нежные любовники замка Мейерлинг!), а затем взорвался гневом бога Вотана<sup>37</sup>, изображенного Рихардом Вагнером (Сараево, Сараево, унылое местечко, и что там понадобилось Францу Фердинанду?), третий закончился в гробовом молчании трупов, за колючей проволокой раздирающих на себе кости (плоти на них уже давно не осталось), в то время как к небу поднимался (хотелось бы написать: «поднимались души») невозможный и страшный дым.

«Человек умеет лишь фантазировать», — пишут добрые люди. Нет, если события принимают нелепый оборот (почему восторженного поступка сербского патриота хватило, чтобы поджечь континент и встряхнуть два других?), это лишь результат бюрократической мелочности. Наоборот, многих бы спасло, если бы человек имел воображение и мог бы догадаться, на путь какого из тиранов его заносит! Что касается меня, наслушавшись от своего отца рассказов о первой отвратительной войне, я попал в круговорот в августе 1914 года как подданный империи, а вышел из него разломанным и как подданный республики. Хватило года и осколка бомбы, чтобы сделать из меня калеку. Нация — это единое тело; чтобы расчленить мое тело, понадобилось не особенно много времени, но какая мне теперь разница?

---

<sup>36</sup> Аттестат зрелости (нем.).

<sup>37</sup> Вотан у древних германцев континента соответствовал Одину (верховному богу в скандинавской мифологии). — Примеч. ред.

2

Ельмслев, который должен был еще только через несколько лет опубликовать «Принципы общей грамматики», начинал делать первые шаги в своей методике. Я узнал о них из журнала, опубликовавшего его краткий доклад перед диссертацией. К тому времени я привык рассматривать вопросы языка только через Платона и Аристотеля, и вдруг открываются новые перспективы (Ельмслев позже признался мне, что сам начинал с «Кратила»<sup>38</sup>, но быстро оставил его, поскольку в этом диалоге «не хватает женщин»).

Статья была краткой, я захотел узнать больше и написал автору в Упсалу. Он ответил, что мой интерес к еще только начатой работе льстит ему и что он будет счастлив, если — почему бы и нет — новые руки (дерзкая метафора) примут в ней участие.

Мне было двадцать три, и никаких четких планов на будущее у меня не было. О своей юности в Вене я сохранил приятные воспоминания: я позволял себе с апломбом рассуждать обо всем и вызывать восхищение невежд, сочетать элегантность денди и самоуверенность глупца. Учеба принесла мне несколько верных друзей, вкус к высокоумным спорам и нежную любовь к философии. Я ответил Ельмслеву, что с удовольствием встретился бы с ним, и большая часть неувязок с отъездом разрешилась, когда началась война: я отправился не в Упсалу, а на сербский фронт.

Через год, вернувшись после увольнения, я оказался один — отец уже довольно долго считался пропавшим без вести, мать еще в начале войны унесла болезнь. Город казался мне пустым, я проводил долгие дни без всякого интереса, когда однажды, прибирая комнату, наткнулся на письмо Ельмслева. Знаков не существует, их выдумывают люди; я решил назвать эту случайность велением судьбы. В качестве туриста я пересек пылающую Германию и, став дезертиром, перебрался в Скандинавию. Ельмслев встретил меня с удивлением и радостью. Я прожил в Швеции семь лет: четыре года рядом с ним, в Упсале, остальное время — в Стокгольме. Мои руки не оказали особой помощи лингвистике, но за это время я сумел разобраться со многими вещами в самом себе. С самого начала и до моего отъезда Ельмслев учил меня французскому. Он обожал этот язык, хотя у него не было времени практиковаться в нем. Ельмслев сразу же дал мне для чтения «Замогильные записки»<sup>39</sup> — суровый урок, но настолько глубоко запавший в душу, что когда позже я попытался писать сам, то, несмотря на все мои усилия, мною овладевал стиль виконта. Моей неуклюжести, надеюсь, оказалось достаточно, чтобы скрыть это. В то же время Ельмслев поощрял мои занятия фотографией. Я уже рассказывал, что подобное времяпрепровождение помогло мне заработать на жизнь и даже принесло немного известности.

3

— Ты что, поедешь в Стокгольм с этим? — спросил Ельмслев и с грустью покачал своей удлиненной головой.

Его удивление было вполне объяснимым: в 1919 году на улицах Швеции нечасто можно было встретить автомобили. Однако их хватало, чтобы обзавестись одним, если путь не особенно далек и если отправляться после полудня. Добраться до места я надеялся засветло.

— «Это» называется автомобилем. Лингвист!

— А я вижу только огромного неуклюжего медведя, запертого в какой-то странной клетке.

---

<sup>38</sup> Диалог Платона, касающийся темы языка.

<sup>39</sup> Мемуары Франсуа-Рене де Шатобриана (1768–1848), французского писателя и политического деятеля.

Описание было довольно точным, если учитывать мое меховое пальто и картуз, надвинутый на самые глаза. Я нажал на газ, взмахнул рукой на прощание и направил машину к выезду из города, где мне предстояло заправиться на единственной бензоколонке — других на моем пути не предполагалось.

Когда я добрался до заправки, я увидел небольшое объявление на двери, которое гласило, что владелец был вынужден отлучиться и что его стоит подождать и выпить за его здоровье. И правда, хозяин поставил небольшой столик рядом с деревянной скамейкой и расположил на нем формочки со льдом, бутылку пива и коробку печенья. Я уселся и принялся ждать.

Должно быть, я задремал или, возможно, ко мне подошли сзади, но передо мной неожиданно оказались две девочки, одетые в школьную форму, в белых носочках и пыльных туфлях. Они внимательно разглядывали меня. У одной было живое и смешливое лицо, другая, как будто постарше, не улыбалась. У нее были светлые волосы, и я не мог понять, что отражается на ее личике: грусть, замешательство или угрюмость.

Я спросил:

— Хотите печенье?

Та, что помладше, уже потянулась к коробке:

— Я могу взять два? — Она взяла два печенья и уверенно сунула одно в руку подруги. — Мы голодны. Мы ничего не ели. Вернее, ели — то, что взяли с собой, но теперь снова голодны.

Вторая по-прежнему не двигалась, сжав в руке печенье.

— Ваша подруга не ест и молчит.

— Она такая. Она всегда пугается, когда незнакомые.

— А вы нет?

— А чего мне бояться?

— Того, чего боится она.

— Она всего боится.

— Хотите пить? Извините, здесь только один стакан.

— Не важно.

У нее была глуповатая улыбка, которая часто встречается у подростков. Она часто хихикала, склонив голову, и смотрела сквозь опущенные ресницы.

— Тогда я узнаю все ваши мысли. И, возможно, тоже испугаюсь.

Девочка подошла к скамейке.

— Можно сесть? — Она села рядом со мной, не дождавшись ответа. — Ну, — бросила девочка подруге, — что ты стоишь как столб? Садись и ешь.

Вторая тоже села. Ее не было видно за подругой, поэтому я мог разглядеть только белые носочки и пыльные туфли.

— Из чьей шерсти ваше пальто?

— Волчьей.

— Вы попали в аварию?

— Нет, я жду, когда придет владелец и заправит мне бак. Я еду в Стокгольм.

— Не может быть! Мы тоже из Стокгольма!

— А что вы здесь делаете?

Она снова прыснула, и ее подруга быстро поджала ноги, спрятав их под скамейку.

— Мы убежали!

Она пересказала мне их приключения, как они уехали утром из Стокгольма вместе с классом и преподавательницей, как ровными шеренгами прошествовали по Упсале, а потом, случайно оторвавшись на лестнице от группы, решили сбежать («я говорю „мы“, но на самом деле она просто составила мне компанию, одна я не решилась бы»), после чего они устроили пикник в парке, делились хлебом с лебедями на озере, слонялись перед витринами («утром нам ничего не показали, кроме поучительных вещей»), чуть-чуть заблудились и

наконец заметили меня («так смешно было смотреть на вас издалека, как будто большой плюшевый медвежонок пьет пиво»).

— Ваша учительница и друзья, наверное, ищут вас.

— Нам все равно. Они не особенно нас любят, да и мы их тоже... Если б вы знали, как это раздражает. Раз вы едете в Стокгольм, может, вы нас отвезете?

Вторая девочка наклонилась вперед и очень низким голосом, совершенно не сочетавшимся с ее еще детским лицом, сказала «нет».

— А что такого, если месье не против, и если его это не затруднит?! Когда остальные приедут, мы уже будем ждать их на вокзале, и никто ничего не поймет Вы согласны?

— Если ваша подруга не против.

— А ей-то что за дело, какая ей разница! Это мы с вами решили.

Из-за угла улицы появился владелец заправки.

— Извините... Я отсутствовал больше, чем рассчитывал, но, как я погляжу, вы тут без меня не скучали. Итак, долгий путь вам предстоит?

Мы обменивались банальностями, пока он заполнял бак. Потом я посадил молчаливую девочку на сиденье сзади, а вторая, которой я предложил выбрать, устроилась рядом со мной. Долгое время она не нарушала молчание, и я приписал это боязливому восхищению, которое обычно охватывает пассажира, не привыкшего ездить в автомобиле: грохот мотора, дорожная тряска, свист ветра, деревья, проскальзывающие мимо и трепещущие на ветру. Однако ее молчание было недолгим:

— Никогда еще не ездил на скорости восемьдесят... Настоящая машина! — И сразу, без перехода: — Остановимся, когда захотите.

Сначала я не понял, что она имела в виду, и ответил, что останавливаться нет необходимости, что мы и без этого легко доедем, если, конечно, такая скорость их не беспокоит.

— Ну что вы, — сказала она, — не стоит так говорить. Я ведь знаю мужчин, это не в первый раз.

И тут я уловил смысл фразы. Бешеная ярость охватила меня и лишила на секунду дара речи. Дрожь, туман в глазах, напряжение мускулов, брань, застрявшая в горле. В первый раз я попал в ситуацию, которой старательно избегал все эти годы, и все из-за какой-то нахальной девчонки.

Я взял себя в руки. В чем я мог ее упрекнуть? Она изображала из себя искусительницу, и большинство мужчин, за исключением меня, распознали бы ее игру с первого взгляда. Наконец я сумел заговорить:

— Если я правильно понял, вы предлагаете заплатить за поездку?

— За все нужно платить, ничего плохого в этом нет. Я знаю мужчин, я же вам сказала.

— Возможно, вы знаете их не так хорошо, как предполагаете... Сколько вам лет?

— Пятнадцать.

— Так я и подумал.

— В чем дело? Вы боитесь?

— Причина неважна. Важно одно — сегодня транспорт бесплатный.

Она положила руку мне на бедро, я вздрогнул, руль выскользнул из рук, и машина резко дернулась в сторону.

— Может быть, вы и боитесь. Но не говорите мне, что вам не хочется. — Она неожиданно просунула руку мне между ног. — Нет! — закричала она. — Не может быть! — Ее рука пыталась что-то нащупать. — Что это значит? Скажите, что это значит?

Я был переполнен гневом и отчаянием, чувствовал себя униженным. Я вновь оказался на больничной койке, где проснулся счастливым от того, что жив (как же коротко было это счастье!), и обнаружил ранение, которому не было названия, я пытался отрицать его изо всех сил (не я, только не я!), но к чему? Деревья по-прежнему проносились мимо, а слезы все струились по моему лицу, струились бесконечно рядом с этой девочкой, вжавшейся в дверцу

машины и засунувшей кулак себе в рот, чтобы хотя бы ненадолго сдерживать рыдания.

Больше ни слова не было произнесено за всю поездку. В Стокгольме я высадив их перед вокзалом. С другой — с той, которая молчала, — позже мне предстояло встретиться.

#### 4

Чтобы понять, что представляла собой Первая мировая война, стоит посмотреть фильмы о ней. Историки позже признают, до какой степени этот век жил в воображаемом мире, почти стерлась грань между реальностью и фантазией: уже не понять, откуда вымывает бушующие толпы — со стадиона в Нюрнберге или с фильма Сесила Б. Де Милля<sup>40</sup>, коварные интриги — следствие паранойи советского прокурора или воображения сценариста? Только посмотрев «На западном фронте без перемен» Майлстоуна и «На плечо!»<sup>41</sup>, я начал понимать, в какой войне участвовал.

Со времен Фабрицио из «Пармской обители», простодушно принявшего битву при Ватерлоо, известно, что нет роли хуже, чем сторонний наблюдатель трагедии, но я больше всего старался избежать опасности и не особенно следил за тем, как разворачиваются события и кто выигрывает в войне. Солдат против воли, я вел личное сражение не столько против мифического врага, которого не знал, сколько против тех, кто считали себя вправе подчинить мою волю собственным прихотям, то есть против высших чинов, а вскоре и против каждого в армии. И действительно, оказавшись по воле случая или по ошибке военной администрации, что было обычным делом, в части резервистов, я начал изображать из себя самого слабого, нуждающегося в опеке. Таким образом, я добровольно принял на себя роль неотесанного болвана, что вызывало язвительные насмешки со стороны других, но избавляло от опасных приключений; правда, в самом начале я умудрился искалечить воистину шальной пулей одного фельдфебеля. Итак, меня направили если не в мирную зону (таких не было), то в одну из самых безопасных.

Всем известна притча, придуманная стоиками: оракул предрек однажды одному человеку, что тот умрет от несчастного случая — крыша дома упадет ему на голову. Этот человек был безумцем, так как подумал, что сможет избежать приговора судьбы; он решил больше никогда не переступать порог ни одного дома и начал вести бродячую жизнь, безопасную, по его мнению. Но вот однажды в небе пролетал орел, который нес в когтях черепаху, та выскользнула из его лап и упала на голову бродяге. Так свершилось то, что и было предначертано: крыша дома убила человека — ведь черепаха носит панцирь, который служит ей домом.

Мне совсем не близки учения о предопределении, какую бы форму они ни принимали, я сослался на эту притчу только ради ироничности совпадения, описанного в ней. Каждый свободен делать собственный вывод.

Я занимался обычной работой (а именно, чистил отхожее место), когда мое внимание привлекло далекое жужжание. Я вышел во двор казармы, где уже все стояли, задрал головы. Вскоре пальцы потянулись в сторону черной точки, появившейся в ясном небе, все замерли. Аэроплан, как их тогда называли, был в то время редкой птицей — с начала войны мы видели только один. Машина медленно приближалась, послышались крики: друг или враг? Он пролетел над нами, провожаемый взглядами, и исчез, потом вернулся. На этот раз он летел ниже, и когда начал набирать высоту, от его фюзеляжа отделилась какая-то маленькая черная масса. Никто не двинулся, и я тоже, потому что никто не успел сообразить. Через

---

<sup>40</sup> Сесил Б. Де Милль (1881–1959) — режиссер, сценарист, продюсер; снимал пышные постановки на библейские и исторические сюжеты.

<sup>41</sup> «На плечо!» (1918) — фильм Чарли Чаплина.



несколько секунд бомба разорвалась рядом со мной, и я потерял сознание, не успев почувствовать боли.

Когда я пришел в себя, я оказался погруженным в бледный туман, населенный призраками. Некоторые звуки, наоборот, обладали пронзительной ясностью: скрежет колес телеги, чьи-то непрерывные стоны, свист паровоза. У меня больше не было тела, лишь когда я поднял руки к лицу и дотронулся до него, ощущение ирреальности немного отступило.

— А, вы пришли в себя, — сказал призрак.

— Что со мной случилось. Что со мной?

Писклявый голос, разрывавший мою глотку, не мог принадлежать мне.

— Все уже хорошо. Не волнуйтесь. Вам сделали укол морфина.

— Зачем?

— Не стоит пугаться, если боль вернется, когда ослабнет действие лекарства.

— Какая боль?

— Хирург вам объяснит.

Я видел, я слышал, мог дотронуться руками до лица... Ноги! Но я сумел различить бугор в конце кровати, там, где они должны были находиться. По крайней мере, я был цел.

Призрак облекся в тело: медсестра с дружелюбным лицом склонилась надо мной, в руке она держала стакан.

— Выпейте немного.

— Что это?

— Что это может быть? Обычная вода... Позовите, если еще захотите пить.

Вероятно, я заснул. Я проснулся от боли, и в то же время меня накрыла паника. Живот! Медсестра сошла с ума: в таких случаях никогда не дают пить! Доктора, скорее! Она мне за это заплатит! Но почему никто не приходит? Я не позволю так просто себя убить! Никто не реагирует на мои крики... И тут я заметил, что не издаю ни звука, горло как будто свело судорогой, пот струился по лицу... Чья-то рука грубо опустила на мое плечо и отбросила меня обратно на кровать — я и не заметил, как приподнялся.

— Сейчас вам лучше соблюдать спокойствие.

Он носил форму под распахнутым халатом, за ним стояла все та же медсестра. Мне удалось пробормотать:

— Она дала мне пить.

— Да? Ну и что?

— Но в моем случае...

— В вашем случае?

— Он не знает, — сказала медсестра.

— А-а!

— Что мне нужно знать? Почему мне ничего не говорят?

Наступило долгое молчание. Они оба смотрели на меня.

— Потому что это тяжело, — сказал доктор. — Тяжело.

Снова наступило молчание, они все так же смотрели на меня, две фигуры в белом над белыми простынями.

— Вам нужно набраться мужества...

— Я обречен?

— Нет, нет, вы будете жить... Вы выживите, я вам обещаю, просто ваша жизнь не будет такой же, как прежде. В вас попало множество осколков, и, можно сказать, вы были на грани, но кишечник оказался не задет.

— А что? Что задето?

Он помолчал, потом сказал:

— Вы.

— Что?

— Так многие мужчины определяют эту часть тела.

— О нет!

Я все никак не мог осознать. Я бессмысленно повторял: «Нет, нет, нет», как будто полное оцепенение охватило меня.

— Мы сделали все, что могли. Но для жизни риска нет. Вы будете жить, будете жить.

И я жил.

## 5

Довольно случайно я оказался на фильме «Петер-бродяга». Я уже упоминал, как трудно было мне в то время (1922 год) найти моделей, которые согласились бы позировать. Я посещал кинотеатры, надеясь отыскать там подходящую мне фигуру — юных актрис не должно было задеть мое предложение.

Это был фильм Эрика А. Петчера, который выступил как его продюсер и режиссер, а также сыграл в нем главную роль. Чтобы избавиться от старой связи, герой поступает на службу в шведскую армию, любезничает с одной из дочек мэра того города, где стоит его полк, и после некоторых перипетий женится на богатой вдове. Это была комедия — во всяком случае, так утверждала афиша, — и я должен был вести себя соответственно — смеяться. Я ждал, когда появятся дочери мэра, и только ее одну я увидел. С той встречи в Упсале прошло уже три года, но я ни минуты не сомневался: это был все тот же немного неловкий подросток, и сквозь весь фильм она проществовала со скучающим равнодушием. Она не казалась идеальной моделью для моих фотографий, но я понял, что ее лицо почему-то запало мне в душу, хотя в тот первый раз я даже не обратил на нее особого внимания.

Я приступил к поискам продюсерского центра и благодаря тому, что Эрика А. Петчера не было на месте, добился от секретарши некоторой информации, а именно, как мне найти девушку. У них не оказалось ее адреса. То ли они его потеряли, то ли она его не оставляла, то ли они и не интересовались местом ее жительства, потому что в любом случае господин Петчер не собирался вновь приглашать ее на роль (что он и подтвердил на следующий день в телефонном разговоре со мной). Юная актриса «не представляла собой ничего интересного... минуточку, кажется, она работала продавщицей в магазине готового платья. Рагнар Ринг рассказал о ней — он снял ее в нескольких рекламных роликах; пришлось даже пойти в магазин, чтобы посмотреть на нее, в ней несомненно что-то есть, но как она двигается — просто катастрофа. К тому же она никогда не сможет быть смешной; поговорите с Рагнаром, возможно, он что-то знает».

Ринг мне сказал, что ему известны мои работы и что она мне не подходит — совсем не тот тип, который мне нужен... «Видели фильм Петчера? Ну он и шутник, этот Петчер! Вам надо было посмотреть, что я из нее сделал: от нее ничего не требовалось, только продемонстрировать платье, но любое платье на ней пропадало, она заслоняла их самой собой. Думаю, заказчики были не очень довольны результатом, я их понимаю. Не знаю, что они сделали с пленкой, вероятнее всего, выкинули. Жаль, не догадался сохранить на память хотя бы один снимок... Как это объяснить? Мы с вами в чем-то похожи, вы поймете меня, если я скажу, что у меня наметан глаз и что мы с вами умеем распознавать тех, чьи лица наполнены светом. Жаль только, что сами мы для этих лиц не представляем никакого интереса. Ее адрес? Конечно, куда ж я его засунул... Я с тех пор переехал, невозможно ничего найти. Но это просто: нужно зайти в какой-нибудь из магазинов фирмы „PUB“. Она работала в таком, насколько я помню. Возможно, она еще там».

Там ее не было, но я встретил подругу ее сестры («нет, она здесь больше не работает, она теперь снимается в кино»), которая дала мне ее адрес. Она жила в квартале Ле Содер, куда я и отправился на следующий день.

Квартал Ле Содер находился на юге Стокгольма, чуть за чертой города, и представлял собой настоящий муравейник: дружелюбные улицы столицы оборачивались пустырями и

сараями с крышами из листового железа, под которыми размещались серые и неприглядные жилища.

Она была дома. На ее лице не отразилось ни капли удивления.

— Это вы, — просто сказала она, как будто мы расстались накануне.

Это и вправду был я, и я поведал ей причину своего визита.

— Какое я имею к этому отношение?

— Вы были свидетелем. Немым, неподвижным свидетелем того мгновения, когда я понял, кто я есть.

— Вы и так это знали!

— Знал, конечно. Знал, но отказывался понимать. В тот момент я осознал, каково это, когда смотришь на свою тайну не только как на скрытое знание. Это просто, но глазами чужого человека.

— И вы выбрали для этого мои глаза!

— Наша первая встреча была случайной, почти такой же, как и эта. Вы идеальный свидетель, как говорится, потому что вам это ни к чему, и уже завтра вы обо всем позабудете. От себя добавлю, что я никогда не забуду ни ваших глаз, ни вашего лица.

— Поэтому вы мне рассказали свою историю?

— Я должен был когда-нибудь рассказать ее, и вот рассказал. Не для того чтобы освободиться, но чтобы наконец отстраниться от нее немного. А у вас я прошу прощения за то, что без вашего согласия сделал вас соучастницей тайны, до которой вам нет никакого дела. Спасибо, что выслушали меня.

Она не ответила, просто положила свою руку на мою, но как-то рассеянно, как будто не осознавала, что делает.

— Вы будете теперь сниматься в кино?

— Да. Вероятно... Я получила предложение, со мной связалась секретарша Морица Стиллера.

— Великого Стиллера?

— Да. Мне сказали, что он очень известен. Он хочет меня видеть, попробовать на какую-то роль. Но ничего не выйдет. Вы же видели — я отвратительно сыграла.

— Ни вы, ни я не профессионалы в этой области. Стиллер — да, и, вероятно, он знает, что делает.

Вскоре я решил проститься.

— Можете зайти еще, если захотите.

Я ответил: «Возможно», — зная, что не вернусь. К тому же жизнь рассудила по-своему, и через некоторое время я покинул Швецию. Я сказал ей: «До свидания», — а в душе пожелал: «Удачи». Кто знает, может, это пожелание и принесло ей такой головокружительный успех.

## 6

«Я жил», — ответил я Штернбергу, когда он спросил меня однажды о моем прошлом. В следующий раз, когда я повторил эту фразу, он недовольно отмахнулся:

— Не сомневаюсь, что ты жил. Ты не рассказал мне о вашем знакомстве ничего, кроме банальностей, но есть один пункт, в котором меня не провести: я не оставлю тебя в покое, пока ты не объяснишь мне подробно, какой смысл вкладываешь в фотографии задниц... И не говори мне на этот раз, что достаточно просто взглянуть на них. Я не позволю провести себя дешевой софистикой.

— Это не софистика. Хотя какая разница!

— Для меня есть разница! Не забудь, я один из твоих самых верных клиентов. Моя коллекция скоро будет стоить целое состояние, и если, разорившись, я решусь продать ее, мне необходимо знать больше об ее авторе.

— Во-первых, ты никогда не разоришься, ты слишком хитер для этого, и потом, неужели этот вздор имеет для тебя значение?

— Вздор? Биография?

— Ладно, ладно, Джозеф. Неужели ты так наивен, чтобы искать Моцарта в жизни невоспитанного и вульгарного мальчишки? — Я продолжил, хотя он уже собирался перебить меня: — Иоганн Себастьян Бах. Славный, благовоспитанный буржуа, великолепный муж, отец семейства. Теперь слушайте его музыку.

Он ответил, что больше всего ненавидит, когда я увожу разговор в другую сторону, используя при этом искусство.

— Я спросил о задницах. Я хочу получить ответ на свой вопрос. Откуда в тебе эта страсть?.. И вообще, каким ты был раньше?

— Раньше я вел обычную жизнь молодого небогатого венца. Если хочешь знать, я могу рассказать тебе, что посещал женщин и дома терпимости. Помню, однажды в полумраке я встретил там Фрейда, переодетого сестрой милосердия...

Штернберг расхохотался.

— Нет, так просто меня не обдурить, особенно очевидной выдумкой... Значит, все было в пределах нормы? Никакого особого тяготения к задницам?

— Тяготение ко всему, что вызывало интерес.

— Хорошо, сначала. А потом?

— А что могло быть потом?

— Не так быстро! Мне кажется, Абеляр не бросил Элоизу после случившегося с ним<sup>42</sup>. И до этого их отношения ведь не сводились лишь к совокуплению! Иногда я спрашиваю себя: так ли это важно (старее, возможно), или дороже то, что французы называют... Не могу вспомнить...

— Любовные похождения?

— Именно... Так что?

— Не знаю, как психологически пережил травму Абеляр... Могу лишь сказать, что тот осколок уничтожил не только орган, удовлетворяющий желание, но и само желание. Не только инструмент, но и источник.

— Вполне допустимо. Но достаточно ли этого... Задницы! Умоляю! Задницы!

— Мне кажется, я уже объяснил тебе: в этой части тела есть сила, изящество, гармония, которые делают ее наиболее завершенной...

— Завершенной?

— Ты прав. Незавершенной, потому что с ее завершением, завершится сама жизнь...

— А что для тебя жизнь?

— Теперь ты изображаешь из себя платоника! Ну да, почему бы и нет. Судьба превратила меня из мужчины в идею мужчины. Я могу лишь продолжать движение.

## 7

Съемки начинаются в мае 1939-го, сам фильм выходит в ноябре. Режиссер — Любич. Америка сначала удивлена, потом разгневана видом ее смеющегося лица на экране. Она снова хочет смеяться, на этот раз в фильме Кьюкора. Критики безжалостны: «Страстное желание замаскировать бессилие сценария, полное отсутствие подлинных чувств превращают ее в клоуна, шута, обезьяну на помосте. Было бы так же неловко наблюдать за кривляющейся Сарой Бернар. Подобное потрясение равнозначно лицемерию собственной бабушки, выпившей лишнего».

---

<sup>42</sup> Вероятно, здесь имеется в виду тот эпизод истории любви знаменитого средневекового богослова Пьера Абеяра и Элоизы, племянницы каноника Фульберта, когда Фульберт из мести велел оскотить Абеяра.

Тогда она уходит из кинематографа, навсегда, в возрасте тридцати шести лет. Путешествует. Познает хандру бесконечно плывущего куда-то парохода, зябкие пробуждения в холодных гостиничных номерах, головокружительную смену пейзажей, горечь быстротечных романов. Она никогда не вернется в Голливуд.

Решение Греты, принятое в расцвете славы, потрясло мир, а газетчики как с цепи сорвались: одни не хотели этому верить и постоянно объявляли о ее возвращении, другие множили невразумительные объяснения ее поступка. Ее приход в кино был связан с тайной, тайной же оказался окутанным и ее уход. То, что я знал ее ближе, чем остальные, не позволяло мне лучше понимать ее: я уже говорил, что ничья жизнь не открывается перед нами полностью, нам удастся ухватить лишь фрагменты. Вот один из них — возможно, я о нем уже вспоминал, — который позволит нам чуть приблизиться к ней. Однажды, когда она шла по двору студии, от группы статистов отделился мальчишка, он держал в руках блокнотик для автографов; мальчик направился к ней, а она убежала, будто ее вдруг охватила паника. Можно представить, как мальчишка возвращается после своей неудачной попытки к друзьям и спрашивает: «Вы видели? Нет, вы это видели? Можно подумать, она меня испугалась!» И друзья объясняют ему, что она действительно испугалась, что она избегает незнакомцев («Но я хотел только, чтобы она подписалась!» — обижается мальчишка), что она никогда не ставит своей подписи даже в регистрационных книгах в гостиницах, где каждый раз останавливается под каким-нибудь псевдонимом. «Но зачем она ведет себя так? Она ведь так известна, что ее все равно узнают!» Вполне справедливое замечание. Ее легко узнать, особенно когда она напяливает на себя старую шляпу, полностью скрывающую лицо, черные очки и слишком широкие для ее фигуры брюки — такие носит только она.

Она рассказала мне, как шла быстрым шагом через двор студии, мимо группы статистов, которые по ее просьбе и из уважения к ее неловкой маскировке по привычке сделали вид, что не замечают ее, а мальчишка с блокнотиком решил не упустить случай и направился к ней...

— Он приближался (рыжий мальчишка типа Микки Руни<sup>43</sup>, у него был такой вид, словно весь мир принадлежит ему), я увидела блокнотик в его руке и не придумала ничего, кроме как ускорить шаг. Я чувствовала, что каждый его шаг увеличивает ощущение ужаса, что я не смогу принести ему ничего, кроме глубокого разочарования...

Она замолчала, и я продолжил за нее:

— Да. Действительно, он был бы серьезно разочарован, если бы обнаружил за черными очками, под старой, надвинутой на лицо, шляпой...

— ...пустоту. Именно к этой пустоте он и приближался, пустоте, которая есть я и которой я должна быть. Мне не хотелось, чтобы он обнаружил это в столь юном возрасте, и я начала медленно пятиться, потом чуть быстрее, пока не развернулась и не бросилась бежать, будто безумная... Не знаю, рассказывала ли я тебе, Рубен Мамулян<sup>44</sup> сказал мне во время съемок «Королевы Кристины»: «Вам знакомо такое выражение — *tabula rasa*? Я хочу, чтобы ваше лицо было как гладкий лист бумаги, лист, который можно протянуть зрителю, чтобы он написал на нем свои переживания».

Мамулян был прав: образы рождаются из человеческого сознания, но необходимо, чтобы ничего не препятствовало их проекции. Хотя знаменитости живут плотской жизнью, Штернберг очень сетовал по этому поводу — по поводу страсти Марлен к готовке и тушеному мясу: «Богиня у плиты! Кто будет после этого верить в нее?» Прекрасно понятен,

---

<sup>43</sup> Микки Руни — американский актер, который до Второй мировой войны разрабатывал типаж бойкого, находчивого подростка.

<sup>44</sup> Рубен Мамулян (1897–1987) — американский театральный и кинорежиссер.

этот внезапный, хоть и временный бунт плоти от осознания того, что в другом пространстве существует лишь призрак. Однако у Греты никогда не было тела, даже лица. Даже лицо было скрыто под старой шляпой и черными очками: лицо не из плоти, но из света и тени. Думаю, ей и не хотелось существовать полностью, все вокруг нее происходило как-то само собой. И она бунтовала под конец, но тщеславность этого бунта стала вскоре слишком очевидной. И тогда она просто ушла, оставив после себя лишь легенду.

## 8

Спрашиваю себя, перечитывая текст, достаточно ли ясно я выразился по поводу тела, не нужно ли разъяснить природу наших отношений. В течение десяти лет мы представляли собой невероятную пару.

В первый раз, когда я встретил ее, я был потрясен ее отстраненностью, очень заметной на фоне бесстыдного поведения ее подруги. В этой отстраненности не было высокомерия, скорее равнодушие, желание отойти на обочину жизни. Позже, в Голливуде, у нее не возникало необходимости отстаивать свой стиль поведения. Усилия, которые она прикладывала, чтобы избегать других (настолько, насколько позволяла это ситуация), служили достаточным оправданием для шведского сфинкса. Никто не замечал, что она полностью лишена непосредственности, способности действовать порывисто; у нее были отношения, мимолетные увлечения, любовники, но она не стремилась к ним — скорее позволяла овладеть собой. Конечно, мне неизвестно, каково это — быть с ней в интимных отношениях, но сомневаюсь, что она вела себя как страстно влюбленная. Вероятно, она просто позволяла себя любить. Я так часто видел, как она в ужасе отшатывалась перед внезапно, но вполне дружелюбно протянутой рукой. Только что я рассказал о той встрече с мальчиком, которую она восприняла как проявление агрессии. Мы все, обладавшие физическим телом, отягощенные избытком плоти, пугали ее, она плутовала всякий раз, когда обстоятельства, общие или частные, вынуждали ее к этому.

Однако в наших отношениях не возникало ощущения угрозы или агрессии, потому что тело в них не участвовало. Я ни разу не дотронулся до нее, ни разу не сделал попытки приблизиться. Мы были подобны монадам Лейбница, между которыми существует лишь внешнее общение. Но если мое поведение было лишь следствием (или результатом) состояния, в котором я находился, если мне удалось перенести несуществующее вожделение в пласт эстетики, то ее роль в нашем дуэте для меня по-прежнему необъяснима. Наверняка в ее детстве произошло то, что могло бы все прояснить. Не то чтобы она никогда не рассказывала о нем, просто она вела себя так естественно, что вопрос поиска причины отпадал сам собой. Или она была такой от природы, или на протяжении всей своей жизни виртуозно водила всех за нос.

## Камень

### 1

Вспоминая ее бунт — а это был именно бунт, — теперь я назвал бы его проявлением тщеславия. Она, без сомнения, не отдавала себе отчета в этом. В последующие годы она сделала несколько попыток вернуться в кино. Бродили слухи о том, что она проходит в Европе пробы для съемок в фильме по роману Бальзака, в котором ей предложили сыграть роль герцогини де Ланже. Все это долетало до меня как-то издалека, будто между миром и мной образовался густой туман, стирающий лица и заглушающий звуки.

После ее ухода я превратился в затворника и в одиночестве вел монашеский образ жизни. Я рассчитал Густава и Сигрид, которые больше ничем не могли быть полезны мне, и

укрылся в своей комнатке в башне; большую часть времени я проводил в лаборатории и часто даже засыпал там. Штернберг, единственный друг, который меня связывал с внешним миром, отдалился от меня, он отправился сначала в Европу, а затем на съемки фильма, доставившего ему множество хлопот.

Итак, у меня было масса времени, чтобы вернуться в прошлое. Конечно, я уже знал, что нашим существованием руководит случай, но я был слишком требователен, чтобы удовлетвориться столь банальной очевидностью. Я хотел понять больше.

Мне показалось, что параллельность нашего следования была лишь видимой; в действительности мы непрерывно отдалялись друг от друга, отрывались от жизни, но каждый по-своему: она становилась призраком во внешнем мире, я становился призраком в самом себе. Она стала такой, какой ее хотели видеть другие, а я, не осознавая этого, приближался к своей истинной сущности.

Чтение Корнеля и размышление над употреблением такого понятия, как «слава», привели меня однажды к мысли: слава — это то, что обязывает человека действовать соответственно идее, которую он сам себе навязал. Родриго, вопреки тому, что пишут те, кто невнимательно читал, не колеблется между любовью и долгом. Он отправляется на поединок с доном Гормасом, поскольку слава приказывает ему сделать это. Если он ее потеряет, он превратится в ничто. Он обязан соответствовать ей.

Что же я должен себе? Я специально написал «себе», чтобы подчеркнуть, что Родриго плурует: за тем, что он называет долгом, вырисовывается толпа других людей и лицо Химены; за ним наблюдает не только он сам, если так можно выразиться. Но я не герой. И я один. Если и существуют другие, то только как бесцветные статисты.

Суть того, что наконец открылось мне за эти долгие годы, привело меня к тому, чем я стал. Я часто говорил о своем равнодушии; если оно и увеличивалось с течением времени, то не стало больше того расстояния, которое я установил между собой и жизнью. Преодолев его однажды, я пришел на фабрику грез, в Голливуд, город, где воображаемое — рожденное фильмами и моими фотографиями — медленно переходило в реальность, намного более настоящую, чем то, что называет реальностью обманутое видимостью большинство.

Если следовать логике, я должен был позаимствовать здесь что-нибудь и скромно исчезнуть. Но тут заговорила слава, которая спугнула всю скромность и проявилась в чрезмерном тщеславии.

## 2

Я не спешил. Я обошел виллу и стер все признаки нашего существования, никакого следа после нас не должно было остаться. В башне работа была более сложной и требовала нескольких дней. Моя коллекция постоянно увеличивалась, папки копились, к тому же я принял решение просмотреть все содержимое папок, прежде чем закрыть их. Я благополучно добрался до конца пути, то, что так долго было страстью, стало прахом.

Закончив просмотр, я перенес папки в лабораторию. Там был беспорядок: негативы, развешанные повсюду в ожидании проявки, которая никогда не наступит, обрезки, рассыпанные по полу, забытые и брошенные — масса, представляющая собой выразительное зрелище. По всей комнате валялись склянки и бутылки, в которых я хранил необходимые для работы жидкости (бензин, различные растворы). Я смешал их все и начал заботливо выливать смесь сначала на папки и пленки, а потом на пол. Я сделал то же самое в коридоре, на лестнице и по всему зданию; танцующие дорожки образовывались за мной, с их помощью я надеялся не оставить после себя никакого следа, кроме следа катастрофы.

Каждому своя слава, и я решил, что моя будет грандиозной. Новосопеченный режиссер, я не сомневался, что мой первый опыт приведет Штернберга в неопишную ярость («Пузатый, Пузатый, ты играешь не свою роль!»). Я собирался написать слово «КОНЕЦ» в последнем кадре. Мой фильм начался в черно-белые 1930-е (немой фильм,

выведенные каллиграфическим почерком реплики персонажей, чуть дрожащее изображение, очертания фигур слегка размыты), а закончится в пылающих и грохочущих 1940-х. Я представлю городу — исключительно для собственного удовольствия, так как никто ни о чем не подозревает, — лучший из фейерверков в ослепительном блеске пламени...

Итак, я чиркнул спичкой.

### 3

Некоторое время огонь разгорался: легкие искры то опадали, то вновь воскресали. Длинный язык пламени внезапно взметнулся до самого потолка и охватил пространство вокруг себя. Нежное потрескивание, как разыгрываемая оркестром увертюра, которая, повинаясь палочке властного невидимого маэстро, вот-вот обернется бурей. Цвета: бледно-желтый, почти растворяющийся в белом, внезапное неистовство оранжевого и красного, поглощаемое ярким взрывом, пускающим искры во все стороны. Звук не такой, как вначале, бурный (*allegro vivace*), полный рычания и бесконечной ярости. И наконец, запах: поначалу умеренно едкий, вскоре невыносимый, быстро распространяющийся с башни по всему зданию.

На какое-то мгновение пожар словно затих, погас, задохнулся, как будто бензина оказалось недостаточно. Передышка, длившаяся достаточно долго, закончилась пронзительным треском, грохотом рухнувших стен. Затем последовало еще несколько обвалов, и огонь, подхваченный легким капризным ветерком, распространился повсюду.

Первой обрушилась огромная дверь в викторианском стиле, отчего возник приток воздуха, потом наступила очередь фасада с мавританскими окнами (еще приток воздуха), крыша (дождь из черепицы), обрывки старых занавесок порхали туда и обратно, как безумные птицы. Огонь добрался до двора и выкатился в парк, который, так как его давно забросили, был полон высохшей травы и чертополоха.

Густой черный дым, поднимавшийся к небу, окруженный искрами и языками пламени, было видно издалека, так что всполошилась вся округа и пожарные. Появилась первая пожарная машина с орущей сиреной, через час приехала вторая, под конец их собралось четыре. Более трех часов понадобилось пожарным, чтобы прийти к плачевному результату.

### 4

Через два дня обычная машина подъехала к месту, где когда-то стояла вилла. Из нее вышли капитан пожарной службы и трое гражданских — представители комиссии по расследованию. Они осматривали развалины, над которыми все еще поднимался дымок. Люди шлепали по теплomu пеплу и воде. В одном месте под обрушенным полом обнаружили три ступеньки в хорошем состоянии, ведущие в подземный коридор, в конце коридора была каменная стена, также обрушенная, а за ней — несколько наполовину обгоревших костей.

Это показалось странным, но капитан вдруг вспомнил слухи, ходившие когда-то по поводу строительства виллы: архитектор по имени Уильям Сандерс исчез, после того как здание было достроено, он не присутствовал даже при передаче ключей. Некоторые предполагали, что он замуровал себя где-то под полом, камень за камнем возвел стены собственной могилы.

Члены комиссии были людьми разумными, они не верили в легенды, им и преклонных лет капитану пожарной службы (снисходительная улыбка и похлопывание по плечу) не хватило поэтического воображения. Они склонялись к более прозаичной версии: скорее всего, владелец виллы был захвачен пожаром врасплох и погиб в огне.

## От автора



Фильм, после выхода которого героиня моей книги стала известной актрисой, назывался «Сага о Йесте Берлинге». В этой кинокартине нет сцены, открывающей мой роман. Я выдумал ее, желая придать необходимый тон повествованию и побудить читателя пойти вслед за теньями.